

Тяжелый свет Куртейна. Синий

Автор:

Макс Фрай

Тяжелый свет Куртейна. Синий

Макс Фрай

Тяжелый свет Куртейна #1

Это первая часть большой трилогии о людях, духах, котах, полицейских, ангелах, морях и трамваях города Вильнюса и его изнанки. Или же просто первый слог заклинания, при помощи которого можно открыть если не сияющие небеса, то как минимум путь в свой личный, вместе с раем утраченный миф. Как скажете, так и будет. Читателю решать.

Макс Фрай

Тяжелый свет Куртейна. Синий

© Макс Фрай, текст

© ООО «Издательство АСТ», 2018

* * *

Sveti Jurij, to mas kljuc,

Odpri nam nebesko luc![1 - Перевод: Святой Юрий, у тебя есть ключ. Отвори нам небесный свет! (словенский). Эту песню пели в деревнях словенской Нижней

Штирии в честь Весеннего Юрьева дня.]

Первый круг

Эва

Свернув во двор, Эва подумала каким-то усталым, обреченным, чужим, неизвестно откуда взявшимся в ее голове голосом: «Вот и все», – сама еще не понимая, что это значит, почему вдруг, какое такое «все». Потом увидела торчащую из жасминовых зарослей ногу в грязно-оранжевом резиновом тапке, и подумала – тоже устало и обреченно, но теперь уже точно сама: «А. Дядя Миша все-таки умер». После короткой паузы позволила себе добавить: «Наконец-то». Внимательно посмотрела на кусты, внесла корректировку: «Не умер, а умирает. Очень скоро, вот-вот умрет».

Достала из кармана телефон, набрала сто двенадцать, потому что, елки, как ни крути, можешь сколько угодно считать это бессмысленным издевательством, неуважением к таинству смерти, профанацией, суетой, но вызвать скорую – твоя человеческая обязанность. А человеческие обязанности следует выполнять.

Скорую дяде Мише, тихому, дряхлому дворовому бомжу с багровым лицом и вечно слезящимися глазами, удивительно светлыми, почти белыми, как застиранные простыни, Эва вызывала уже в четвертый раз; на самом деле удивительно, что не гораздо чаще, что бедняга вообще каким-то невыносимым образом, неизвестно зачем дожил до сегодняшнего дня. С жизнью его связывало исчезающе мало, и эти связи были так же непрочны, необязательны, ненадежны, как его прерывистое дыхание – имя, усталость, смутная тоска по ласке, робость, ненависть к громким звукам, зачем-то застрявшая в памяти детская песенка про улыбку, зрение, ставшее источником бесконечных страданий от яркого света, способность ощущать жажду, боль, сладкий вкус и тепло. Но до сих пор этой малости оказывалось достаточно, чтобы удерживать дядю Мишу в мире живых, человек – не только обескураживающе хрупкая, но и очень живучая тварь.

Сообщив оператору скорой адрес и коротко обрисовав ситуацию: «Пожилой мужчина, бездомный, лежит без сознания; нет, он не пьян, то есть не только пьян; нет, я просто живу в этом дворе; нет, я не считаю обычной ситуацией, когда бездомный человек лежит на земле без сознания; да, конечно, я дождусь врачей, никуда не уйду», – Эва спрятала телефон в карман. Сказала себе: «Они вряд ли будут спешить, так что у тебя есть минимум четверть часа, а скорее почти половина, соберись, давай», – и пошла к этим проклятым жасминовым кустам; ну то есть нет, почему сразу «проклятым». К цветущим, благоуханным, великолепным жасминовым зарослям, извините меня, уважаемые кусты, вам и так несладко, к вам пришел умирать дядя Миша, он сам так решил, вы не выбирали стать местом его долгожданной страшной кончины, за что вас ругать.

Эва всегда боялась; нет, не так, не боялась, просто очень не хотела и одновременно совершенно точно, со спокойной пророческой обреченностью знала, что именно так и будет, что однажды чертов дядя Миша умрет у нее руках, пока она будет ждать скорую помощь, потому что просто пройти мимо умирающего нельзя, и остаться с ним рядом тоже нельзя, но все-таки придется остаться. «Я не справлюсь, – думала она, – с дядей Мишей точно не справлюсь, его же уже почти нет, и что тогда будет? Скорее всего, ничего не будет, то есть вообще ничего». Сама понимала, как это глупо – что значит «ничего не будет»? Как это – вот прямо совсем-совсем ничего? Из-за одного умирающего дяди Миши? И куда, интересно, все денется? Даже не смешно.

Конечно, не смешно. Не смешно, а страшно.

Страх ее был беспредельно велик и одновременно ничтожно мал, несопоставим со всем остальным – бирюзовой июньской ночью, смешавшейся с ароматом цветущего жасмина невыносимой вонью больного, годами не мытого тела, явственным присутствием смерти, которое больше всего похоже на отсутствие света, вернее какой-то хитрой тайной части спектра, невидимой глазу, но ощущаемой всем остальным существом. Совершенно неважно, страшно тебе или не страшно, когда все уже происходит – с тобой, здесь, прямо сейчас, и ты знаешь, что с этим делать. А если даже не знаешь, все равно делаешь, потому что иначе нельзя.

Опустилась на колени в полуметре от ног умирающего; к счастью, этого оказалось достаточно, ближе можно было не подходить. Некоторое время внимательно на него смотрела; ну, то есть как – на него. Просто в темноту жасминовых зарослей, где он лежал. Не обязательно видеть лицо, достаточно

вспомнить воспаленную рыхлую кожу, почти безгубый ввалившийся рот и эти его невыносимо светлые, вечно плачущие глаза – как же все-таки хорошо, что у дяди Миши такие необычные глаза, от этого можно плясать; собственно, нужно плясать, с самого начала это знала, просто не знала, что знает, так часто бывает, почти всегда.

Сосредоточилась на ощущениях в макушке, сразу ощутила знакомый звенящий зуд – это хорошо, это правильно, значит я на месте, и дядя Миша на месте, и моя жизнь, и его – наша с ним его смерть. Заговорила вслух, но почти беззвучно, представляя, как слова выходят из ее головы и вонзаются в дяди Мишину, проделывая в его темени большую, глубокую, рваную – нет времени церемониться – дыру.

– Ты явился сюда сияющий, великолепный, юный, слишком юный для такой опасной, трудной игры. Старшие забавлялись: прыгали в людскую жизнь, как в пропасть, чтобы потом взлететь, подняться, восстать со дна, и ты захотел поступить, как они. Прыгнул и увяз, не справился с сокрушительной силой, которая гасит наш вечный свет. Но теперь это позади, радуйся, лучезарный! Вспомни скорее, каким ты был – многоликим, веселым, блистательным, светлым, ты часто смеялся, и от твоего смеха во всех небесах всех Вселенных загорались праздничные огни. Теперь ты снова такой – веселый, блистательный, светлый, таким пришел сюда, таким и уйдешь, уже уходишь, спеши, возвращайся к себе. Спасибо, что осветил нашу жизнь своим присутствием. Но впредь будь осторожен, не прыгай в пропасть за старшими, больше так не шали.

Последнюю фразу сказала уже для себя, просто так, чтобы немного поднять настроение, потому что сияющий, великолепный, чем бы он ни был, ушел. А оставшийся от него дядя Миша умер. И одновременно исчез исходивший от него жуткий запах мочи, гниения и перегара, хотя где это видано, чтобы смерть отменяла телесную вонь. Она только дополнительной добавляет, отсыпает щедрой рукой; впрочем, еще наверняка добавит, успеется, не в первый же миг. А пока в мире, откуда ушел дядя Миша, пахло только цветущим жасмином, свежей травой, разогретой землей, жареной картошкой и луком из распахнутых настезь кухонных окон, выхлопными газами с проезжей части и теплым морем, как это часто случается летними ночами, хотя до ближайшего моря отсюда триста с лишним километров, и теплым его при всем желании не назовешь. А еще почему-то горьким дымом костра и сладкими прелыми листьями, словно бы из будущей осени, пока настолько далекой, что невозможно было не только в нее поверить, но даже вообразить.

Эва поднялась на ноги, удивляясь, как все оказалось легко. Гораздо легче, чем представляла. Легче, чем было до сих пор. Надо же. Никогда не угадаешь, с кем тебе повезет.

Обернулась, без особой надежды высматривая скорую помощь. Вряд ли они так быстро приедут, но чего только не бывает – вдруг? И увидела, что совсем рядом, буквально в нескольких шагах от нее стоит высокий мужчина в длинном, совсем не летнем с виду пальто. И в темных очках – это ночью-то! – как из шпионского фильма. Но, несмотря на очки, понятно, что он очень внимательно смотрит на нее.

Спросила: «Вы врач?» – хотя и так ясно, что нет, какой из него врач, в этом темном, тяжелом пальто и дурацких очках. Но надо же хоть как-то отреагировать на присутствие любопытного незнакомца. Глупо просто стоять и молчать.

После долгой, показавшейся вечностью паузы он ответил:

– Врач из меня, как из козы пианистка, – и, достав из кармана пальто блестящий черный портсигар, предложил: – Сигарету хотите?

У Эвы в сумке были свои, но она почему-то сказала: «Давайте». И не прогадала, сигареты у незнакомца оказались отличные. Очень хороший, мягкий, в меру ароматный табак. Хотела спросить: «Что вы такое интересное курите и, самое главное, где покупаете? Мне тоже надо», – но не успела, потому что незнакомец сказал:

– Рад, что вам нравится. Люблю курящих людей. Говорят, курение – серьезное жреческое занятие, приношение высшим духам; может, и правда так? Это бы многое объяснило! Но вы и без курения очень круты. Если бы не некоторые личные обстоятельства, я бы и сам был не прочь оказаться на месте этого мертвеца, так вы его хорошо проводили. В такие интересные далекие края.

Эва опешила. Господи, он что, получается, слышал? Всю эту чушь, которую я несла?!

– А самое поразительное, – добавил незнакомец, – что вы, как говорят в таких случаях, не профессионал. Не ангел смерти, не дух, не волшебный помощник, не, упаси боже, святая, не прилежная ученица невесты откуда взявшегося

чародея, не йог, практикующий тайные ритуалы в каком-нибудь модном кружке. Даже не представляю, где вы научились своим приемам, но ведете себя, как вдохновенный художник. Как будто у вас вот такой проект для частной галереи господ бога, в которого вы даже не особенно верите, скорее надеетесь, что если всю жизнь на него волонтерить, он все-таки откуда-нибудь появится, не может же быть, что все зря. Правильный ход рассуждений, я тоже примерно так думаю. И из сходных соображений регулярно выкидываю что-нибудь интересное – в меру своих скромных сил. Но такого, как вы творите, я не только сам не устраивал, а даже ни разу не видел на этой прекрасной земле.

– Не перегибайте палку, – невольно улыбнулась Эва. – Я бы даже хотела, чтобы ваши слова были правдой, но это не так. «Художественный проект» существует только в вашем воображении, я тут ни при чем. Я просто пыталась напоследок утешить беднягу, насколько это возможно. Очень страшная участь – вот так умереть. Все умирают в одиночестве, но «в одиночестве» это обычно означает «наедине с собой». А у него и себя-то уже давным-давно не было. Почти ничего не осталось, все куда-то ушло, пропало, не зря о таких говорят: «пропащий человек». Поэтому я с ним разговаривала. Говорила все, что придет в голову, лишь бы не молчать. Думаю, дядя Миша был без сознания, но если вдруг все-таки нет... Я бы на его месте хотела, чтобы кто-то был рядом и – например, рассказывал сказку о том, какая я на самом деле хорошая девочка, ничего страшного не происходит, будут еще другие интересные игры, а сейчас пора возвращаться домой. Хотя бы потому, что у человека две смерти, вы знаете?

Незнакомец неопределенно мотнул головой. Не то «да, конечно», не то «я вас не понимаю», не то «очень интересно, продолжайте пожалуйста». Все что угодно может означать такой жест.

– Первая смерть – хорошая, – сказала Эва. – Совершенно точно не враг и не беда. Просто сила, которая распахивает дверь перед сознанием: есть игра, всем спасибо, все свободны, иди теперь, куда хочешь, то есть куда сможешь уйти. А вот вторая – очень страшная. Эта смерть приходит за телом и включает в нем такие жуткие, с человеческой точки зрения, процессы, что я даже говорить о них не хочу, особенно сейчас, когда все это как раз начинает происходить прямо здесь, совсем рядом. Люди не зря так боятся покойников и всего, что с ними связано – чуют эту вторую смерть, которая кого хочешь с ума сведет, если подпустить ее слишком близко. Поэтому самое лучшее, что может случиться с умирающим, – так увлечься первой смертью, чтобы не заметить вторую. Это, конечно, мало кому удастся. Но если быть рядом и рассказывать что-нибудь

очень хорошее, переводить сладкие обещания чудесной будущности с языка молчания ангелов смерти на язык человеческой болтовни, можно помочь умирающему уйти спокойно, без ужаса и отвращения, так и не встретившись с жутью, уже поселившейся в нем. Ну вот, что-то такое условно утешительное я и рассказывала дяде Мише, отвлекала его, как могла. В общем, не особо великий проект. Господа Бога этим точно не удивишь. Если он есть, то еще и не такого на своем бесконечном веку навидался. А если нет, то и удивлять некого.

– А я что, не в счет? – усмехнулся тип в пальто. – Уж меня-то вы здорово удивили. И я вам за это сейчас отомщу.

Подобное обещание в устах рослого, плечистого незнакомца звучит как-то не очень, особенно ночью, в совершенно пустом дворе. Но Эва не успела испугаться и вообще хоть как-нибудь отреагировать, потому что он снял свои дурацкие шпионские очки, и его глаза полыхнули зеленым огнем, да таким ярким, что Эва то ли на миг ослепла, то ли просто невольно зажмурилась, а когда зрение вернулось, рядом уже никого не было. Только голос, такой тихий, что вполне можно счесть его одной из собственных мыслей, удовлетворенно произнес: «Теперь мы квиты. Я вас никогда не забуду, но и вы не сможете меня забыть».

– Очень умно, – сердито сказала Эва. Хотела еще что-нибудь язвительное добавить, поскольку была твердо убеждена, что ссориться с галлюцинациями гораздо полезней для психического здоровья, чем их бояться, но благоразумно заткнулась, увидев, что двор озарился светом фар въезжающего под арку автомобиля скорой помощи. Не надо добавлять санитарам проблем.

«А все-таки сигарета у этой галлюцинации была отличная, – подумала она, с сожалением отправляя окурочек в щель канализационного люка. – Жалко, не успела спросить, где такое берут».

Потом, совсем уже ночью, после долгого, бестолкового заполнения полицейского протокола, по большому счету не нужного ни единой живой душе, но совершенно неизбежного – такого же ненужного и неизбежного, как дяди Мишины жизнь и смерть, – после горячего душа и крепкого чая с лимоном и ромом, о котором мечтала с того момента, как увидела ногу в тапке, торчащую из кустов, Эва стояла на балконе и смотрела с высоты своего пятого этажа, как далеко за рекой разгораются яркие синие огни на каком-то офисном здании – то

ли реклама неизвестно чего, то ли просто украшение фасада, честно говоря, довольно сомнительное, на этот душераздирающий ультрамариновый свет даже издали больно смотреть, а вблизи, наверное, совершенно невыносимо, хорошо хоть включают его не каждый день.

Впрочем, далекие синие огни раздражали Эву только умозрительно, на практике же они ее парадоксальным образом успокаивали, примиряли – если не с жизнью в целом, то как минимум с самими собой. А сейчас синий свет за рекой почему-то показался ей каким-то тайным небесным приветом, дополнительным подтверждением, что все было не зря, включая галлюцинацию с сигаретами. Возможно даже, начиная с галлюцинации, она определенно удалась.

На самом деле, – думала Эва, – даже жалко, что он просто примерещился. Лучше бы был настоящий, не сверкал глазами, как монстр из кино, и не исчезал так быстро, потому что, господи, какое же, оказывается, счастье, просто стоять рядом с кем-то, кто знает о тебе самое главное, и болтать с ним по-дружески – в идеале, конечно, не об одиноких покойниках, которых следует по мере сил отвлекать от встречи со страшной телесной смертью, а о каких-нибудь более приятных вещах. Но ладно, если ему интересно, можно и о покойниках. Для начала. А там как пойдет.

Я

У всех бывают плохие дни, и я в этом смысле не исключение. Ладно; на самом деле мои плохие дни как раз вполне ничего. Гораздо хуже те, о которых, когда они наступают, я думаю: «Черт с ним, как-нибудь переживу, все будет отлично», – вот это действительно ужас кромешный, потому что в такие моменты я обычно даже не помню, в лучшем случае, очень смутно догадываюсь, что именно в моем случае означает это самое «все».

Но сегодня у меня выдался просто рядовой плохой день, один из тех нервных, бестолковых и беспокойных, когда внезапно просыпаешься в старом дедовском доме, о котором за последние развеселые пару недель практически успел позабыть, почему-то одетым в старые пижамные брюки и неизвестно где и зачем подобранное, явно чужое, тесное в плечах пальто, ощущаешь себя почти совсем человеком, слабым и уязвимым, но пока еще не беспомощным, к счастью, до этого не дошло. Хотя заранее ясно, что очередного приступа полной беспомощности и прилегающего к ней беспамятства тоже не избежать, но –

вот на этом месте следует дать себе подзатыльник за нытье и вознести благодарственную молитву всем окрестным духам-хранителям, начиная с себя самого – не сегодня, а когда-нибудь потом. Например, послезавтра, а послезавтра в моем положении – почти то же самое, что никогда.

Не то чтобы я вовсе не верю в неизбежное наступление послезавтра, скорее отношусь к нему с разумной агностической осторожностью – до сих пор оно, конечно, всегда наступало как миленькое, но из любого правила есть исключения, поэтому не может быть никаких гарантий, что очередное послезавтра непременно наступит. Я не отрицаю его, просто не знаю, как на этот раз обернется, и это незнание дает мне столько силы, что даже когда иссякают все остальные ее источники, я могу продолжать быть. И вот прямо сейчас, извините за неровный почерк, – думаю я и начинаю смеяться; способность смеяться над собственными глупыми шутками – неопровержимое доказательство моего бытия. Получив его, я совершенно успокаиваюсь и наконец-то снимаю приснившееся мне чужое пальто, в котором проходил полдня из каких-то диких суеверных соображений – типа если уж я в нем проснулся, значит, оно зачем-нибудь нужно, например помогает мне сохранять форму, по какой-то причине необходимую в данный момент. Швыряю пальто вверх, словно небо – просто моя антресоль, специально предназначенная для хранения ненужного барахла, некоторое время с понятной симпатией наблюдаю за маленькой темной тучей, в которую оно превратилось, и ускоряю шаг; не то чтобы я действительно куда-то опаздывал, просто грех не поторопиться, когда шею холодит морозное дыхание то ли давно прошедшей, то ли будущей, не сбывшейся пока зимы, мочку уха щекочет шепот: «Ты где вообще шляешься?» – а за ближайшим поворотом тебя ожидает твоя настоящая жизнь, состоящая из бесконечного множества невообразимых возможностей, таких соблазнительных – только хватай за хвост.

Альгис

Больно больше не было. А если и было, Альгис этого не замечал. Так всегда получалось: стоило по-настоящему увлечься работой, как боль и любые другие неприятные ощущения – жажда, голод, усталость, что там бывает еще – отступали, делались настолько несущественными, что их было легко игнорировать, вернее, невозможно не игнорировать, на них просто не хватало внимания, вот и все. Когда он рисовал, проходило даже сопровождавшее его всю взрослую жизнь иррациональное, но явственное, изматывающее чувство сопротивления реальности самому факту существования Альгиса, как будто он

был антигенным раздражителем, проникшим в здоровый организм с хорошей иммунной системой – ну, сам дурак. Он довольно долго пытался с этим разобраться, ходил по психологам, учился аутотренингу, занимался йогой по книжкам, потому что инструкторы всегда почему-то оказывались неумными, неприятными людьми, но в итоге плюнул. Все эти ухищрения, как мертвому припарки, проще заполнить свою жизнь работой так плотно, чтобы не оставалось места больше ничему.

Что-что, а уходить целиком в работу Альгис умел; однажды рисовал почти целые сутки, не то что не отрываясь на кофе и перекур, а даже в туалет за все это время ни разу не сбегал. Ну, правда, это было давно, в юности. С тех пор так надолго глубоко не нырял, но несколько часов кряду себя не помнить – тоже немало. Еще бы случалось это почаще. Сколько раз пытался научиться сознательно управлять вдохновением, для начала хотя бы понять, от чего эта штука включается и на каком топливе работает, ни черта не получалось. Просто начать и закончить картину вовремя, потому что так решил, мог, конечно; что забавно, качество от этого ничего не теряло, иногда даже выигрывало. Но ему хотелось не столько хороших картин, сколько счастливо забывать за работой о себе, своих мыслях, ощущениях, обстоятельствах и обо всем остальном, неизбежно сопровождающем всякое существование. Целью было забвение, рисование – просто самым доступным средством, единственным, которое неизменно срабатывало для него.

Примерно год назад он случайно прочитал в интернете о полуслепом художнике Яковлеве, который рисовал, уткнувшись носом в холст, почти наугад, на ощупь. Долго разглядывал его рисунки, явственно ощущая, как становятся дыбом волосы на затылке. Дело даже не в том, что картины хорошие, хороших-то в мире много, и на экране компьютера даже самые лучшие, будем честны, не слишком впечатляют. Просто за рисунками полуслепого художника стояла какая-то особая, вожденная, непереносимая, но прельстительная тьма. Тоже захотел себе такую, предчувствовал, почти знал: реальность, сгустившаяся до состояния непроницаемой тьмы, не станет меня отторгать. Какие оттуда выйдут картины – дело десятое. Лишь бы там побывать.

С тех пор Альгис рисовал, закрыв окна плотными черными ролетами, днем – в сером, сумрачном полумраке, по вечерам – в почти полной темноте. Постепенно вошел во вкус и совсем перестал поднимать ролеты, а окна для проветривания открывал только по ночам, благо фонарей возле дома не было, лучами в глаза не

лезли, хоть в чем-то ему с этой дурацкой квартирой повезло.

Жизнь в темноте неожиданно пришлась ему по душе. Никогда прежде не думал, что свет то ли обостряет способность чувствовать боль, то ли сам является разновидностью боли; неважно, главное, если убавить его до возможного минимума, становится гораздо легче жить, причем просто зажмуриться, или закрыть глаза темной повязкой не помогает, это он уже из чистого любопытства проверил, совершенно не тот эффект. Словно бы избыток света проникает в человека через поры в коже или как-то еще; в общем, неважно, смотреть на него или не смотреть.

Анестезирующие свойства темноты оказались настоящим спасением. Боли в жизни Альгиса было много, гораздо больше, чем положено терпеть человеку, до того, как попадет в ад – так думал он сам. Тупая, ноющая боль в животе, иногда разнообразия ради переходившая в острую фазу, терзала его на протяжении последних шести лет почти постоянно, с перерывами на полное погружение в работу, другие обезболивающие почти не действовали, такой уж нелепый достался ему организм.

Первые пару лет Альгис честно ходил по врачам, от одного специалиста к другому, заранее цепенея от бессильного ужаса перед возможным диагнозом, сулящим мучительную, полную неопытных подробностей, оскорбительную для человеческого достоинства смерть; с другой стороны, лучше бы уж был хоть какой-то диагноз, все-таки многие болезни сейчас научились лечить. Но врачи в один голос утверждали, что Альгис здоров, анализы ничего не показывали, из этого следовало, что боль ему только мерещится, не настоящий честный недуг, а полная ерунда, фантазия, как говорят в таких случаях, «нервное» – очень глупое объяснение, которое не объясняет вообще ничего.

Прописанные таблетки не особо ему помогали, впрочем, обезболивающие позволяли уснуть, но боль и во сне оставалась с Альгисом, почти чужая, далекая, словно бы обернутая в толстое полотенце, как кастрюля с вареной картошкой, чтобы не остыла до прихода гостей, однако все равно мучительная, слишком знакомая, чтобы быть выносимой. Но он, куда деваться, как-то это все выносил.

Начал выпивать, то есть педантично принимал алкоголь как лекарство от нервов, даже записывал, сколько выпил, рассчитывая со временем найти

оптимальную дозу. Сперва это неплохо работало, боль уходила, возвращалась только в похмелье, да и то не всегда, но потом как-то резко стало гораздо хуже, пришлось срочно завязывать; в общем, чуда не вышло, панацея оказалась фуфлом.

По врачам уже давно ходил без всякой надежды на исцеление, только обновить рецепты обезболивающих. Но теперь, окружив себя темнотой, спокойно засыпал без таблеток, поначалу просто забывал их принять, потом сознательно проверял, так ли все хорошо; наконец, окончательно бросил принимать лекарства, даже поленился сходить за очередным рецептом, и это было почти волшебство. Думал: неужели я выздоравливаю? Не верил, просто боялся верить, но вера, похоже, была не нужна.

Так полюбил свою новую жизнь в темноте, за работой, почти без боли, что совсем перестал выходить из дома. Продукты и другие необходимые мелочи заказывал из интернет-магазина, счета за квартиру оплачивал картой, а больше ничего и не требовалось. О деньгах можно было не беспокоиться: его картины сейчас выставлялись аж в шести галереях, в разных городах и странах, продажи случались не то чтобы часто, но более-менее регулярно, со стоков тоже кое-что капало, вполне можно жить. Гостей он уже давно почти не приглашал, а теперь перестал окончательно, на звонки и письма приятелей отзывался все реже и реже, на любые предложения встретиться отвечал твердым отказом, ссылаясь на неважное самочувствие и большой рабочий проект; собственно, говорил чистую правду: он все еще по привычке ощущал себя больным, при этом очень много, как никогда раньше, ежедневно, практически без перерывов на отдых, рисовал.

Исключение делал только для Тамары, тут никуда не денешься, нельзя от нее запирается, все-таки жена. Они уже давно жили отдельно, но оставались близкими людьми и старались друг друга поддерживать. Альгис пек для Тамары ее любимые пироги с картошкой и сыром, ласково обнимал при встрече, еще ласковей на прощание, предвкушая, как хорошо будет остаться одному, без нее. Иногда говорил: «Жалко все-таки, что мы разъехались, я по тебе скучаю», – искусно дозируя искренность и печаль, чтобы Тамаре стало приятно, но желания снова жить вместе, ни приведи господи, не возникло.

Впрочем, вряд ли жена захотела бы вернуться, она и час-то рядом с ним еле высиживала, хотя им всегда находилось, о чем поговорить. Зато она покупала

ему краски и другие недостающие материалы, активно переписывалась с галереями, с удовольствием возила его картины туда-сюда, помогала организовывать выставки, контролировала продажи, переводила ему все заработанные деньги (Альгис подозревал, что иногда еще и добавляла свои, но особо на эту тему не парился, Тамара на паях с двоюродным братом владела рекламным агентством и зарабатывала столько, сколько ему не снилось даже в самые тучные времена), привозила подарки из всех поездок, таскала ягоды и свежую зелень с рынка, куда он сам никогда не ходил, но самое главное, всякий раз еще на пороге нетерпеливо спрашивала: «Покажешь, что нового?» – и совершенно всерьез волновалась, словно и правда могла получить отказ. Когда Альгис устроил себе вечную полутьму, слова поперек ему не сказала, даже не стала выпрашивать, что, да почему. Выносила законченные картины в освещенный подъезд, чтобы их рассмотреть, а потом возвращалась с неизменно сияющими глазами; Альгис смеялся: «Ну, давай, объясни мне, дураку, почему я на этот раз гений», – и она аргументированно объясняла. После этого за спиной выросло какое-то подобие крыльев: Тамара очень высоко ценила его как художника и умела убедительно говорить. Поэтому, собственно, Альгис когда-то на ней и женился; зря, конечно, заморочил голову человеку, никогда ее не любил. То есть влюблен в нее не был ни дня, ни минуты, даже по пьяному делу не вожделел, ему нравились женщины совершенно другого типа, темноволосые, сероглазые, тонкие, угловатые как мальчишки-подростки, с узкими ладонями и ступнями, но при этом сам факт существования теплой, тяжелой Томки вот уже почти двадцать лет был для него серьезной причиной жить. В плохие периоды, которые занимали, как сам иногда над собой подшучивал, примерно тринадцать месяцев в году, жена оставалась практически единственным аргументом в пользу продолжения жизни. Ее сияющих глаз, восторженных восклицаний по поводу каждой новой картины и дурацких, ненужных, но трогательных подарков, как ни странно, хватало, чтобы перевесить все аргументы против, включая самые веские, сразу две невыносимых боли – физическую, в животе, и душевную, бездонный черный провал на месте смысла и радости, которые раньше были, Альгис знал это точно, но совершенно не помнил, когда, при каких обстоятельствах, и куда потом подевались; на самом деле неважно. То есть важно, важнее всего на свете, просто совершенно невыносимо думать об этом вот прямо сейчас, когда Томки нет рядом и вообще в городе, а из тьмы, которой он себя окружил, медленно проявляется старый трамвайный вагон, и выплывают причудливые глубоководные рыбы – то ли трамвай увозит их на невиданную глубину, то ли рыбы его туда увлекают, а скорее всего, все они вместе уже есть и всегда были там.

С тех пор, как начал рисовать в полумраке, почти наугад, на ощупь, словно и правда ослеп, трамваи и рыбы появлялись на его картинах чаще всего. Раньше никогда ничего подобного не рисовал, не придумывал, не подсматривал у других, прикидывая, как это можно сделать по-своему, они ему даже не снились. Но был так им рад, словно ждал их всю жизнь.

А порой из тьмы возникали человеческие лица, тогда у Альгиса получались совершенно бессмысленные рисунки. То есть бессмысленные с точки зрения подготовки к будущей выставке, о которой уже вела переговоры Томка. Рыбы с трамваями всем зашли на ура; видимо, сюрреализм так давно вышел из моды, что снова стал выглядеть интересно и свежо. Но кому сейчас могут быть интересны камерные портреты каких-то незнакомых людей?

Тамара однажды сказала: «Они у тебя получаются, как фотографии для служебных пропусков на фабрику грез; я не Голливуд имею в виду, а самую настоящую фабрику, где по конвейерам медленно ползут наваждения, а все эти люди стоят в рабочих халатах и, например, прикручивают им носы». Метко припечатала, ему понравилось, однако нельзя было не заметить, что Тамара смотрит на эти портреты с плохо скрываемой неприязнью, кажется, просто ревнует и по-своему права: Альгис любил эти странные лица, как не только ее, а вообще никогда никого не любил.

Пока рисовал, знал их по именам, мог даже назвать домашний адрес каждого, все как один совершенно нелепые, невозможные – улица Заячьих Снов, переулок Второго Забвения, площадь Восемидесяти Тоскующих Мостов – вспоминал характеры, биографии, профессии и привычки; то есть, конечно, ему только казалось, что знает и вспоминает, это Альгис и сам понимал, но чувства, которые он испытывал к нарисованным людям, были гораздо сильнее понимания.

Вот и прямо сейчас он улыбался глупо и счастливо, совершенно по-детски радовался, глядя на женское лицо, мерцающее в полумраке, светлое, как луна. Мама Рита; на самом деле не мама, а тетка, вырастила его, оставшегося сиротой... Так, стоп, вот теперь точно хватит, не надо так увлекаться выдуманными подробностями, не сходи с ума, дорогой.

Он действительно рано осиротел, но никакой «мамы Риты» не было, жил у деда и бабки в пригороде, и это были совсем неплохие времена, хоть и без мамы

Риты, откуда она вообще взялась?

Ну, в общем ясно откуда – пришла из тьмы вместе с рыбами и трамваями, темноволосая, белолицая, в красном платье, уже немолодая, но очень красивая, такая, что дух захватывает... ладно, ладно, – говорил себе Альгис, – сейчас я ее дорисую и наконец-то пойму, что на картине, во-первых, просто незнакомая женщина, наскоро выдуманная из головы, а во-вторых, ничего особенного в ней нет, кроме очень удачной контрастной тени, разделившей лицо на две неравные части – меньшую темную и большую сияющую; все-таки поразительно, что у такого мрачного хмыря, как я, на картинах всегда побеждает свет.

Стефан

Начальник Граничного отдела полиции города Вильнюса сидит в своем кабинете, на четвертом этаже Второго Полицейского Комиссариата на улице Альгирдо.

С точки зрения любого стороннего наблюдателя, в этом здании только три этажа, причем третий – мансардный, прямо под крышей. То есть над ним уже совсем ничего не может быть, даже для летучих мышей там не найдется места, а любой из сотрудников Граничного отдела гораздо крупней, чем летучая мышь. Что совершенно не мешает им занимать весь несуществующий четвертый этаж здания Второго Полицейского Комиссариата по улице Альгирдо двадцать. И ежедневно являться на службу, причем не только во сне, но и наяву, одетыми по всей форме, предъявлять на входе служебные пропуска, на которые, впрочем, давным-давно никто не смотрит, во Втором Полицейском Комиссариате Стефана и его подчиненных хорошо знают в лицо и помнят по именам. У всех сотрудников городской Граничной полиции устойчивая репутация: отличные ребята из какого-то другого отдела. Какого именно, никто, конечно, не помнит, а если вдруг захочет уточнить, его обязательно что-то отвлечет от этого несущественного вопроса. Какое-нибудь важное дело, благо у полицейских всегда много дел.

В общем, какая у нас тут граница – незримая, немислимая, недоказуемая и одновременно объективно очерченная, явственно ощутимая, между пространствами жизни и смерти, сбывшегося и невоплощенного, яви и сновидений, Этой и Другой Сторонами, – такие и пограничники. В смысле полицейские. То есть Граничный отдел.

Начальник Граничного отдела полиции сидит в кабинете один. Подсматривать за ним решительно некому: в городе лето, примерно треть сотрудников в отпуске, а остальные спят на заданиях, и это довольно досадно, потому что всем безумно интересно, как выглядит Стефан, когда остается один.

Зато самому Стефану это обычно совершенно неинтересно. Сколько он себя помнит, всегда равнодушно отворачивался от зеркал, как бы они ни старались привлечь его внимание, показывая одно причудливое отражение за другим. Но что бы ни вытворяли в его присутствии зеркала, Стефан и без них в курсе, что как требуют текущие обстоятельства, так он и выглядит. Тело само прекрасно справляется, выбирает оптимальный вариант.

Поэтому чаще всего Стефан выглядит обычным человеком, достаточно обаятельным, чтобы легко расположить к себе всякого собеседника, и одновременно таким заурядным и неприметным, что никто не запомнит и потом не узнает при встрече, если специально не подсказать.

В редких нестандартных ситуациях, когда следует быть как можно более убедительным, он выглядит рогатым великаном; многие уверены, такова его подлинная природа, а самому Стефану кажется, это просто очень смешно. Но главное, что рогатый великан неизменно производит нужное впечатление, даже руками ничего делать не надо, в смысле обычно обходится без жертв.

Бывают и другие варианты, но их не то чтобы много. Стефан – не великий любитель создавать себе лишние сложности. Жизнь и так достаточно интересна и весьма непроста.

Но сейчас Стефану в кои-то веки необходимо выглядеть так ослепительно, чтобы от его великолепия аж скулы сводило. Ну то есть как – необходимо. Просто вдруг захотелось, ни с того, ни с сего. На то и внезапные немотивированные желания, чтобы им потворствовать, а то разобидятся и перестанут возникать в самый неподходящий момент, одним развлечением станет меньше, а это не дело, нехорошо.

Поэтому в кресле начальника Граничного отдела полиции города Вильнюса сидит умеренно смуглый черноглазый красавец с интеллигентно накачанной мускулатурой и вальяжными манерами избалованного, домашнего, но явно не кастрированного кота. Образ удачно дополняют старомодные лаковые штиблеты и шелковая сорочка, хорошо хоть без розы в зубах обошлось. Самая сокровенная страшная правда о Стефане заключается в том, что роза сначала тоже была. Но в последний момент он передумал и благоразумно выплюнул этот аксессуар в окно. Все-таки с бубном совершенно не сочетается. Грандиозный стилистический провал.

Стефан бьет в бубен; не то чтобы это действительно необходимо, при желании он мог бы с тем же успехом стучать по столу или по своему колену: когда ты сам – весь, целиком инструмент, достаточно даже намек на нужный ритм. Просто бубен – это красиво и одновременно настолько смешно, что он сам всякий раз заливается безмолвным внутренним хохотом, глядя на себя со стороны, а внутренний хохот – самое лучшее топливо, источник великой силы; не то чтобы своей не хватало, но за великое множество жизней и снов о них Стефан твердо усвоил главный принцип отношений шамана и Вселенной: дают – бери.

Начальница Граничного отдела полиции Этой Стороны и всегда-то выглядит довольно легкомысленно – рыжеватые кудри, веснушки, глаза цвета темного меда за стеклами круглых детских очков в ярко-малиновой оправе, вечные сиротские платица от лучших модных домов, вязанные чулки до колена, тупоносые башмаки с разноцветными шнурками – но сегодня она превзошла сама себя. Губы накрашены светло-серой помадой, ресницы как будто облеплены инеем, волосы заплетены примерно в десяток тугих косиц разной толщины и торчат во все стороны этакими лихими колбасками, платье в крупный горох украшено серыми кружевами, похожими на клочки паутины, а на ногах у нее лаковые красные туфли с золочеными пряжками какой-то умопомрачительной величины.

Интересная у них там нынче мода, – думает Стефан. – Впрочем, на Этой Стороне всегда умели наряжаться, здешним до них далеко, как пешком до звезды Денеб. Хотя отдельные особо чуткие горожане все-таки улавливают смутные сигналы от ближайших соседей и делают с этой невыразимой информацией, что получится, а потом пугают собак и невинных младенцев. В смысле украшают наш город собой.

– Ну ты хамло, – говорит Ханна-Лора. – Вызвать меня бубном, как какого-то мелкого духа! В нерабочее время, без предварительной договоренности, ни с того, ни с сего – кто так делает?! Я, между прочим, в театре была. Только вошла в фойе. Спектакль буквально через четверть часа начнется, теперь из-за тебя билет, чего доброго, пропадет.

А. Так вот почему она такая... будем считать, красивая и нарядная.

– Что я хамло, это давно не новость, – примирительно говорит Стефан. – Где бы мы все сейчас были, не уродись я хамлом. Но есть в нашей встрече и положительные моменты. Во-первых, ты все равно мне рада; заодно нарядом похвасталась, я, между прочим, шокирован, как никогда. Во-вторых, я хоть и в шоке, но тоже рад. А в-третьих, не пропадет твой билет, не настолько я бессердечная сволочь. Очень короткий у меня к тебе разговор.

– Что-то случилось? – Ханна-Лора деловито мрачнеет, стремительно входя в роль полицейской начальницы; в сочетании с косичками, пряжками и кружевами это, честно говоря, ужасно смешно.

Стефан отрицательно мотает головой.

– Пока не случилось. Но может случиться. Что-то такое тревожное носится в воздухе. Какая-то туча над нами уже сгущается; прольется она или нет и что это будет за дождь, понятия не имею. Может, еще и не будет ничего, пройдет стороной. Говорят, перед сильными землетрясениями змеи выходят из спячки и выползают из нор, а спроси такую змею, куда она собралась и зачем, ничего не ответит. Вот и я сейчас, как та змея. Выполз из-под земли и озираюсь спросонок: чего тут вообще у вас?

– Ну и чего тут у нас? – встревоженно спрашивает Ханна-Лора.

– Да говорю же, пока ничего. Мог бы сказать, что мосты шатаются, но это будет неправдой. Пока не шатаются, но...

– Что – «но»?

– У меня такое ощущение, что Мосты уже откуда-то прознали, что шататься в принципе вообще возможно. Подобное знание о своей природе обычно способствует обретению мудрости разной степени сокровенности, но довольно скверно сказывается на прочности. Я понятно объясняю?

– Естественно, непонятно, – вздыхает Ханна-Лора. – Но я, к сожалению, все равно тебя поняла.

– Очень хорошо. Не люблю беспокоиться неизвестно о чем в одиночку. Вдвоем – еще туда-сюда. Ты не такая чуткая, как мы со змеями, зато голова у тебя, пожалуй, даже получше моей. И свои кадры ты знаешь. В смысле Мосты. Поэтому я тебя совершенно бестактно вызвал вот таким примитивным варварским способом – чтобы ты срочно, прямо сейчас, не откладывая, не дожидаясь беды, начала обо всем этом думать. Сам бы пришел, но мне к вам не стоит соваться; собственно, тебе же и приносил клятву высшей степени нерушимости не делать этого никогда. Короче говоря, извини, пожалуйста. Если хочешь, можешь дать мне щелбан.

И, картинно зажмурившись, подставляет ей бледный высокий лоб; был бы свой, ни за что не стал бы так рисковать, Ханна-Лора только с виду барышня хрупкая, а на самом деле здорово дерется, ходи потом как дурак с синяком, возбуждая злорадное сочувствие в сердцах подчиненных и некоторых особо близких друзей. А этого красавчика отдавать на расправу не жалко, все равно исчезнет навек максимум через четверть часа.

– Да ладно тебе, – отмахивается Ханна-Лора. – На самом деле, мне даже нравится, когда ты бубном меня вызываешь, это как на качелях «солнышко» сделать, только предварительно не раскачавшись, сразу, без предупреждения, ни с того, ни с сего – ух! И для укрепления авторитета никогда не помешает лишний раз исчезнуть у всех на глазах, а потом появиться, как ни в чем не бывало, и на все расспросы загадочно отвечать: «Пришлось отлучиться по срочному делу». Что, впрочем, совершенно не отменяет того, что ты – редкостное хамло. Такова твоя подлинная природа, коллега, на тебя даже сердиться нет смысла, только констатировать факт, – и добавляет, не в силах сдержать улыбку: – Признавайся, ты сегодня так ужасно выглядишь специально, чтобы мне еще больше понравиться, или просто окончательно сошел с ума?

– Одно другому не мешает, – рассудительно говорит Стефан и выплевывает на пол увядшую алую розу, которая зачем-то снова образовалась у него в зубах. –

Считай, просто компенсация за беспокойство. Если уж силой вытащил тебя из театра, значит, как честный человек, обязан устроить цирк.

Второй круг

Тони

Тони идет по городу. И пока не знает, по какому именно городу идет. Зато вполне ясно понимает, что он – Тони, сидит сейчас дома на кухне, возле плиты, следит за кофе, который поставил на дальнюю конфорку, чтобы варился помедленней, и одновременно вот здесь идет. Причем, в отличие от предыдущих эпизодов такого рода, отчетливо помнит, почему и зачем это делает. Очень хорошо.

Тони останавливается. Это требует огромного внутреннего усилия; во время таких прогулок всегда почему-то очень трудно изменять способ действия. Идешь – значит иди. А если бы сначала стоял на месте, заставить себя сделать первый шаг оказалось бы почти непосильной задачей. Инерция, мать ее; ладно, ничего, я уже остановился, – думает Тони. – Стою на месте, как настоящий, то есть как ни в чем не бывало, моя взяла.

Оглядевшись по сторонам, Тони видит, что на улице очень темно, окна маленьких, аккуратных двухэтажных домов, только отчасти скрытых невысокими заборами и негустыми зарослями цветущего не пойми чего, все как одно черны; население, стало быть, дрыхнет. Ну это вообще нормально, дома сейчас тоже глубокая ночь. Какие-то фонари, слава богу, горят, но их здесь не то чтобы много, и свет, скажем так, довольно экономичный. Ладно, так все же гораздо лучше, чем ничего.

Посмотрев под ноги, Тони видит лоскутное одеяло тротуара: гладкий асфальт соседствует здесь с узкой полосой, вымощенной очень мелкими камешками, похожими на гранитные детские кубики, чуть в стороне ровный прямоугольник аккуратных булыжников, отполированных то ли временем, то ли просто специальной шлифовальной машиной, черт их разберет, все-таки слишком темно. Ближайший фонарь на углу, поэтому хочешь не хочешь, а придется

одержать две победы над инерцией кряду, то есть сперва тронуться с места и дойти до угла, а там – остановиться и снова оглядеться. Может, прояснится хоть что-нибудь.

Не зря старался: на перекрестке возле фонаря стоит указатель с названиями улиц, он достаточно хорошо освещен, чтобы прочитать надписи. На одной стрелке написано «Kepenicker Allee», на другой – «Rheinstraße»; значит, язык немецкий, вроде, больше ни у кого нет такой специальной буквы для удвоенной «s» – «?». Хорошо бы запомнить адрес; нет, не «хорошо бы», а обязательно надо запомнить, кровь из носа, и выкручивайся как хочешь, дорогой друг.

В этот момент Тони чувствует горячее дыхание в районе правого уха и слышит сочувственный шепот: «Кофе в такие моменты варить все-таки не стоит. Сбежал он у тебя к чертям». Тут надо бы собраться с силами, сконцентрироваться и ответить: «А ты-то куда смотрел той дополнительной задницей, которая у тебя зачем-то растет на шее?» – но ладно, собачиться будем потом, дело прежде всего, поэтому он говорит, выталкивая слова не горлом, языком и губами наружу, а исключительно волей куда-то внутрь, в горячую темноту в глубине живота: «Кепеникер аллее, угол Рейнштейнштрассе, запомни, пожалуйста, я только что на указателе прочитал».

Усилием воли – на самом-то деле понятно, что все, то есть вообще все на свете делается исключительно усилием воли, понуждающей к действию мышцы, разум, внимание, чувства, и какие там инструменты у нас еще есть, просто в некоторых случаях эти волевые усилия, скажем так, избыточно ощутимы – в общем, усилием воли Тони решительно отодвигает в сторону уже почти вставшую перед глазами картину, полутемную кухню, освещенную всего двумя небольшими лампами над мойкой и над плитой, светлые стены, потолок, раскрашенный под звездное небо, стол, заставленный стопками чистых мисок и чашек, которые, кстати, надо бы не забыть потом раскидать по шкафам, букет увядающих подсолнухов на подоконнике, широченную спину Юргиса, склонившегося над плитой, и его страшно довольную по сути, но чрезвычайно ехидную по форме ухмылку, каким-то непостижимым образом заметную даже со спины.

В общем, эту картину Тони отодвигает подальше, чтобы не вздумала окончательно воплотиться, оглядывается по сторонам, от избытка чувств торжествующе потрясает обоими кулаками: да, детка, да! Вокруг снова темная улица, двухэтажный дом, окруженный низким зеленым забором, белолунный

свет фонаря, указатель – две стрелки «K?penicker Allee», «Rheinsteinstra?e», вот так-то лучше, всем стоять-бояться, от меня не уйдешь, ай да я.

Тони разворачивается и идет по улице Рейнштейнштрассе, медленно, стараясь быть только здесь, присутствовать полностью, а значит – видеть фонари, деревья, заборы, белеющие в темноте розы, автомобили, припаркованные вдоль мостовой, слышать тихий шум ветра в верхушках деревьев, подошвами ощущать границу между ровным заасфальтированным тротуаром и булыжной заплатай, отливающей в желтом фонарном свете легендарным золотом Рейна, вдыхать ароматный ночной воздух, осязать первые редкие капли дождя. Тони идет осторожно, вдумчиво, как начинающий канатоходец по толстому тросу, натянутому в полтора метрах от земли. Думает: я здесь; неважно, где именно, потом разберемся, главное, у меня получается, ну я даю, – и торжествующе улыбается, потому что в небе над пока неопознанным городом уже разгорается восхитительный, невыносимый, яркий, холодный синий невидимый свет маяка. Сияет черт знает где, протащенный контрабандой, но и дома при этом не гаснет. А то бы Юргис мигом вернул меня назад, – думает Тони. Но тут же решительно прогоняет из головы мысли про дом и Юргиса, не надо сейчас об этом думать, слишком легко туда вернуться, слишком трудно продолжать оставаться здесь.

– Два часа сорок шесть минут, – говорит Тони, раскачиваясь на табурете. И повторяет, невольно схватившись за ставшую неожиданно легкой и звонкой голову: – Два часа сорок шесть минут, абсолютный рекорд. А тут что я все это время делал?

– В основном бродил по дому, – отвечает друг Юргис. Впрочем, сейчас он не Юргис, а Иоганн-Георг; с прошлой осени требует называть его этим именем, говорит, хорошо пока с ним живет. И не дай бог ошибешься, устроит такую бурю, что реки выйдут из берегов.

– Ходил с таким, знаешь, специальным умным лицом, как будто изобретаешь что-то вроде вечного двигателя, или сочиняешь стихи, – продолжает рассказывать Юргис. – Но в какой-то момент, похоже, получил просветление и внезапно сложил в шкаф посуду. Причем сперва почему-то в одежный, по такому случаю не поленился таскать ее в коридор. Я смотрел и не вмешивался. Упаси меня боже вдохновенному гению хозяйственные советы давать. Но ты сам потом походил, подумал, получил еще одно просветление и все переставил в буфет. На

мой умеренно компетентный взгляд, именно туда, где положено находиться посуде, но лучше потом сам проверь.

– И маяк, как я понимаю, все это время горел?

– Естественно, он горел. Причем даже ярче, чем прежде. А то хрен бы тебе приятный туристический променад, мое слово твердо, вернул бы к суровой реальности, ни единой покаянной слезы не пролил. Я все время втыкал в окно, не переживай. Было довольно скучно. С горя науглил этот твой интересный адрес. Улицы с такими или созвучными – я же не знаю, как они правильно пишутся, – названиями есть в разных немецких городах. Но пересекаются они только в Берлине.

– В Берлине? – недоверчиво переспрашивает Тони. – Ну надо же. А с виду какой-то поселок.

– Судя по карте, которой я любовался долго и счастливо, это окраина, удачно избежавшая многоэтажной застройки[2 - Действительно, окраина Восточного Берлина, район Карлсхорст.]. Такие есть во всех больших городах.

– Ты прав. Ладно. Значит, Берлин. В прошлый раз был Краков, в позапрошлый – Сувалки[3 - Сувалки – город в Польше, вблизи от польско-литовской границы.], перед ним – какой-то неопознанный город между рекой и горой, я был там всего пару минут и вообще ни черта не понял... Черт знает что. В смысле никакой логики. Интересно, откуда взялся такой набор? Что влияет на выбор места? Хорошо бы, конечно, контролировать направление перемещений; с другой стороны, я же и сам не знаю, где надо светить. И никто не знает. Ладно, может, еще разберусь...

Тони встает с табурета и тут же хлопается обратно.

– Ни хрена себе штивает. Вот это номер.

– Ну слушай, чего ты хочешь. Почти три часа в двух местах сразу, не хрен собачий, – рассудительно говорит Юргис. – Потом пройдет. Выпить хочешь?

– Да не то чтобы, честно говоря. Но, по идее, не помешает. Мне с этим хрен знает что вытворяющим организмом потом еще вместе в темной комнате спать. И выдай мне сигарету. Лучший в мире способ быстро целиком оказаться здесь и сейчас.

– Есть такое дело.

Юргис возится с бутылками и стаканами гораздо дольше, чем надо; скорее всего, просто для удовольствия. Смешная правда про Юргиса: он любит хозяйничать в чужих кухнях, но пальцем о палец не ударит в своей. Максимум – сварит кофе, а потом будет неделю ждать, что джезва как-нибудь сама магическим образом помоеется; причем иногда этот номер у него даже проходит. Но, к сожалению, не всегда.

– Вот, – наконец говорит он, ставя перед Тони стакан с прозрачной жидкостью. – Решил ничего ни с чем не смешивать, просто налил нам рому. В некоторых особых случаях чем проще, тем лучше. Например, когда у тебя в руках оказался Карукера агриколь[4 - Ром агриколь (agricole, т. е. «сельскохозяйственный») отличается от обычного рома способом производства, делается из свежавыжатого сока сахарного тростника, производится обычно небольшими партиями, поэтому встречается реже и стоит дороже.] из редкого барбадосского сахарного тростника.

– Кару... – что?

– Карукера. Остров прекрасных вод. Так раньше называлась страна Гваделупа. Лично я бы на ее месте до сих пор так назывался, с новым именем у нее, по моему, как-то не очень задалось. Но вряд ли это дурно повлияло на вкус напитка. Агриколь есть агриколь.

– Где ты это сокровище взял? Сколько караванов ограбил? Сколько купцов перебил? У меня в закромах ничего подобного не было.

– Правильно. Зато у тебя был обычный светлый бакарди. А в моих руках многие стараются показать себя с лучшей стороны. Хотят мне понравиться. И твой ром туда же, хотя, по идее, суровое пиратское пойло с крепкими нервами, что ему какой-то там я.

- Ты его превратил?!

- Да упаси боже. Я не умею. Он сам.

- Господи, - говорит Тони после первого глотка. И повторяет: - Господи.

- Невзирая на ряд моих несомненных достоинств, я - совершенно точно не он.

- Ты даже вне подозрений. Это было не адресное обращение, а просто мини-рецензия выдающегося эксперта в области спонтанного домашнего пьянства для развлекательного журнала «Ночной сомелье».

- А. То есть тебе понравилось, - флегматично кивает Юргис. - Ну и хорошо, - и помолчав добавляет: - Ты завязывай, пожалуйста, мысленно называть меня старым именем. Понимаю, сила привычки. Ну и вообще в своей голове каждый сам хозяин. Но ради меня, пожалуйста, постарайся. Мне и так непросто живется. Что-то я в последнее время какой-то... чересчур человек.

Самое время огрызнуться: «Это тебе только кажется», - но есть вещи, с которыми лучше не шутить. В их число входят абсолютно все темы, при упоминании которых у собеседника, кем бы он ни был, каменеет зачем-то оставленная на лице улыбка и темнеют глаза.

Поэтому Тони говорит:

- Извини. Постараюсь больше так о тебе не думать. Я не знал, что имена на тебя влияют, даже если просто крутятся в чужой голове.

- Я и сам не знал, пока не почувствовал. Ничего, уже все в порядке. Наверное. Скоро будет в порядке; в общем, забудь. Оштрафую тебя на дополнительную порцию перебродившего сока барбадосского сахарного тростника, и тогда-то уж точно сразу приду в порядок. Я, ты знаешь, практичный и экономный. Не допущу, чтобы зря перевелся драгоценный продукт, а значит извлеку из него пользу, чего бы это ни стоило - и мне, и ему.

- Разумный подход, - кивает Тони. - Надо брать с тебя пример. Эй, драгоценный ром агриколь, а ну быстро давай, иди мне впрок!

Встает, подходит к окну, некоторое время стоит, опираясь на подоконник, смотрит на далекие огни за рекой. Наконец говорит:

– Ладно, по крайней мере, с нашим маяком действительно все в порядке. И голова у меня молодец, ясная и больше не кружится. Ноги могли бы стоять и потверже, но не буду к ним придирааться. Носят как-то пока, и на том спасибо. Сам понимаю, им со мной нелегко.

– Интересно, а как твой двойник там, на маяке, сейчас себя чувствует? – спрашивает друг, которого теперь надо даже мысленно называть Иоганном-Георгом, но ум наотрез отказывается мыслить такими нелепыми конструкциями; ладно, пусть пока будет просто нейтральный «он», а там поглядим, – думает Тони, – или я привыкну, или привыкать не придется. Он часто меняет имена.

А вслух отвечает:

– Да примерно так же, как я: чертовски доволен собой, устал, возбужден и горд. И по-прежнему в полном отчаянии, потому что мы делаем невозможное, а толку от этого невозможного... Ладно, не стану говорить «ноль». Я просто не знаю. И он не знает. Но готов продолжать; скажем так, не готов останавливаться. Ну и я с ним за компанию не готов, а куда деваться.

– Хоть кто-нибудь там догадался срочно налить ему хорошего рому?

– Надеюсь, что так.

– «Надеешься»? Точно не знаешь?

– Конечно, не знаю. Это же только у него две жизни сразу – и собственная, и моя. А я разделяю с ним самые сильные чувства, особо страстные желания и некоторые сны; кажется, настроение у нас всегда более-менее общее, но на этом – все. Раньше я думал, круто чувак устроился: мало того, что у самого жизнь интересная, так еще и моих приключений себе полные карманы нахапал. Но знаешь, после этих прогулок, начинаю склоняться к мысли, что мне повезло гораздо больше, чем ему. Две жизни одновременно это только звучит замечательно, а на практике означает – почти ни одной. Я же до сих пор толком не помню, как ходил по дому, убирал в шкаф чашки, и все остальное. Только как ты мне про сбежавший кофе говорил; причем пока тебя слушал, почти не видел,

что в Берлине творится. То есть, получается, ты или там, или там. Может, конечно, мне просто навыка не хватает. Тот, другой Тони уже двадцать с лишним лет Смотритель маяка. А я о нем даже не подозревал до недавнего времени – ну, то есть пока с тобой не связался. Стефан говорит, это вообще нормально. В смысле обычное дело. На нашей стороне Смотрителям маяков и не положено ничего такого о себе знать.

– Да, считается, что нормально, – соглашается Юр... так, стоп, он же просил, Иоганн-Георг. И сердито добавляет: – Только меня такая норма совершенно не устраивает. Быть частью одного из величайших чудес Вселенной и все при этом профукать? Самый драгоценный на свете опыт так никогда и не осознать? Немыслимая растрата. Я не согласен, чтобы было так.

Глаза его вспыхивают яростным изумрудно-зеленым огнем, и это до такой степени не метафора, что стороннему наблюдателю впору обосраться на месте. Но Тони-то не сторонний. Он в курсе, что пламенеющие глаза – просто эффектный фокус, позволяющий впечатлить аудиторию и заодно избавиться от избытка эмоций, чтобы не мешали жить долго и счастливо, никого под горячую руку не зашибив. Иоганн-Георг совсем недавно этому фокусу выучился и теперь, конечно, показывает его по любому мало-мальски подходящему поводу. А иногда – без.

Тони Куртейн

Тони Куртейн сидит за столом, положив голову на руки; со стороны может показаться, что он задремал. На самом деле Тони смеется – тихо, почти беззвучно, хотя мог бы хохотать в голос, рычать и вопить дикой лендрой, на маяке он один, как обычно, никому бы не помешал.

Я молодец, – думает Тони, – на этот раз правда здорово получилось. По идее, с таким помощником иначе и быть не могло; я еще и потому молодец, что он у меня есть. И не просто так, по доброте помогает, у него в этом деле явно свой интерес. Хотел бы я знать, какой именно; ладно, может, однажды расскажет. А пока пусть просто будет рядом и продолжает хотеть, чтобы у нас все получилось. Он так круто хочет, что силы от этого даже не удваиваются – удесятерятся. Еще никому, никогда так не везло.

Я молодец, – думает Тони, – так ярко маяк еще никогда не горел. И это только начало. Считай, просто разминка. Еще прогуляемся по Другой Стороне, подождем ее со всех краев синим спасительным светом и посмотрим, кто слетится на этот свет. И пусть этот засранец только попробует не слететься... Ладно. Рано я размечтался. Будем жить одним днем – сегодняшним, благо он задался.

Я молодец, – думает Тони, – а все-таки местами полный придурок. И этот красавец хорош, зачем он мне подливает? Я же и так на ногах уже еле стою, куда мне еще, куда?

Я

– Туда, – отвечаю я. – Забыл, с кем связался? Я всегда все делаю правильно. И сейчас тоже. Особенно сейчас! Чтобы окончательно вернуться домой после такой интересной прогулки, тебе надо как следует выспаться. И я тебя усыплю самым доступным способом, другие у меня сейчас не сработают – говорю же, в последнее время я чересчур человек, натурально тяжелое обострение моей материальной природы, хроническое воспаление старой, ненужной судьбы. Пройдет, я надеюсь; по крайней мере, до сих проходило, но пока единственная колыбельная, которая осталась в моем распоряжении – этот напиток богов. Удивительный все-таки молодец твой ром, что сам в агриколь превратился, я бы сейчас его даже в компот превратить не смог. И кстати, если ты откажешься пить, мне же больше достанется. Такой вопиющей несправедливости ты не захочешь допустить.

– Черт с тобой, – соглашается Тони, – наливай. Сил моих нет с тобой спорить, эта дурацкая кухня кружится, как карусель, только вместо тигра или хотя бы белой лошади подо мной почему-то дурацкий табурет, и музыка не играет. Надо было заранее пригласить оркестр. Одно утешение: когда я свалюсь под стол – а это, боюсь, неизбежно – ты не оставишь меня неопратно валяться на пыльном полу в позе пищевого отхода, а утащишь прямехонько в пекло, которым, готов спорить, тайно заведешь на досуге. Ну и отлично. Я почему-то замерз, никак не могу согреться, а в пекле тепло.

– Обязательно утащу, – обещаю я. – И укутаю огненным одеялом. И в котел подолью свежего кипяточку. И ласково поглажу по голове кочергой, так что завтра будешь как новенький. После того, как меня укусила заботливая

бабушка-оборотень, я стал очень нежным, тебе со мной повезло.

Эва

На этот раз он был без пальто и даже без темных очков, в обычной черной футболке и мешковатых штанах с миллионом карманов, но Эва сразу его узнала. И почему-то обрадовалась.

Что не испугалась, это как раз понятно, чего тут пугаться. Не может случиться ничего страшного в середине жаркого летнего буднего дня под полосатым тентом кафе, за колченогим столом, мокрым от холодного кофе, только что пролившегося из твоего стакана, по твоей же неосторожности, хорошо хоть не весь, и тут вдруг подгребают твоя позавчерашняя галлюцинация с ослепительной улыбкой в девяносто четыре зуба и пачкой ярко-оранжевых бумажных салфеток: «Держитесь, я вас сейчас спасу». Ясно, что ничего особо ужасного в такой встрече нет, но радоваться – все-таки перебор.

Однако Эва обрадовалась. И сразу взяла быка за рога, пока этот тип не перестал ей мерещиться:

– В прошлый раз не успела спросить, где вы покупаете такие отличные сигареты. Потом локти кусала. Исправляюсь, спрашиваю: где?

– Сейчас выкину этот кошмар, – сказала наваждение, сгребая со стола ком мокрых салфеток, – вернусь и все расскажу.

Пока он ходил, Эва как раз успела вытереть столешницу насухо последней парой салфеток и с облегчением выдохнуть. Равнодушная к почти любым проявлениям беспорядка, она терпеть не могла грязные столы.

– На самом деле я нигде их не покупаю, – объявил незнакомец, усаживаясь напротив. – Но не потому, что я ваша галлюцинация, а галлюцинациям не продают сигареты, как школьникам. А потому, что это своего рода конструктор. «Сделай сам». Покупаю отдельно табак, отдельно гильзы. И набиваю при помощи специальной машинки.

Извлек из карманов все перечисленные предметы и положил на стол с таким победительным видом, словно выкладывал флеш-рояль.

– В любой приличной табачной лавке все это есть. Долботня адова, но ничего не поделаешь. Другого способа получить мало-мальски приличную сигарету в условиях текущей реальности просто не существует; машину времени не предлагать, я их боюсь. Хотите попробовать сами сделать?

– Хочу, – кивнула Эва. И, не сдержавшись, добавила: – Кстати, глаза у вас больше не полыхают адским зеленым пламенем. Я подумала, вдруг вы не заметили? Такие вещи о себе наверное лучше знать.

– Как о штанах, лопнувших на заднице, – согласился он. – Спасибо большое, насчет глаз я в курсе. Они в общем и не должны полыхать. Это был просто такой специальный фокус, чтобы нравиться девушкам. Друг научил.

– С девушками у вас и без фокусов все должно получаться, – заверила его Эва. – Вы вполне ничего.

Это было, прямо скажем, некоторое преуменьшение. Галлюцинация ей досталась до крайности симпатичная, такой здоровенный дядька с узким скуластым лицом, которое могло бы считаться суровым, если бы не круглые, зеленоватые, как у кота глазищи и совершенно девичьи ямочки на щеках. Всем бы такое мерещилось и вело себя так же приветливо, небось никто бы не бегал по докторам.

Впрочем, штука про галлюцинацию начинала выглядеть откровенно глупой. Стол-то он по-настоящему вытер, – думала Эва. – Где бы я взяла столько салфеток? У меня была всего одна, да и та сразу намокла. И табак у него настоящий. И, похоже, не только табак.

– Одно удовольствие иметь с вами дело, – сказал незнакомец. – Даже не попытались прикинуться, будто видите меня в первый раз. И не убежали, суетливо крестясь. Меня редко так балуют. Наверное из-за дурацкой манеры невежливо исчезать посреди разговора. В общем, сам виноват.

– Да я бы, может, и убежала, – усмехнулась Эва. – Просто кофе не допила, хоть и разлила половину. А со стаканом в руках убежать как-то глупо. Да и куда

бежать? Если вы галлюцинация, далеко не сбежишь, а если живой человек, то и убежать не имеет смысла. Лучше уж про сигареты спросить.

– Говорю же, одно удовольствие иметь с вами дело, – повторил ее собеседник. – Не зря я вас разыскал.

– Разыскали? – зачем-то переспросила Эва.

Хотя и так ясно, если нашел, значит перед этим искал. Даже если это просто случайная встреча. Случай повинуется нашим желаниям гораздо чаще, чем может показаться, особенно неосознанным. С осознанными, конечно, трудней.

– Вы меня очень впечатлили, – серьезно сказал он. – Такой крутой у вас ритуал. И действенный. Я даже толком не понял, то ли вы знали, кто перед вами, и помогли ему себя вспомнить, то ли он вам просто поверил и послушно превратился в какое-то невероятное существо, которому есть куда возвращаться после смерти, а если бы не вы, то и не было бы ничего. Как сами-то думаете?

– Я не знаю, – неохотно сказала Эва. И честно добавила: – Мне все равно.

– Так и думал, что вы это скажете, слово в слово, – усмехнулся незнакомец. – Наверное, в ваших руках такое «все равно» – рабочий инструмент. Ничего подобного раньше не видел. В человеческом исполнении – так точно; впрочем, вообще ни в чьем. Поэтому твердо решил вас найти, как бы случайно встретить в городе, а потом, если вы согласитесь иметь со мной дело, выпросить все подробности: где вы этому научились? Или сами придумали? Но как?! Не сообразил в азарте погони, что это, как минимум, бестактно. Вы не обязаны открывать мне свои секреты только потому, что я так лихо глазами на прощание сверкнул.

– И очень эффектно исчезли, – добавила Эва. – А сегодня оказались рядом в самый страшный момент моей жизни, пообещали спасти и действительно спасли. Зря смеетесь, момент и правда был совершенно ужасный. Мокрый липкий стол, и кофе вот-вот начнет капать с него на землю, прямо на мои белоснежные кеды, а я сижу, как дура с одной несчастной салфеткой и не понимаю, что делать. Брррр! По-хорошему, за такое чудесное избавление надо бы открыть вам все свои тайны, не жалко, налетай! Но я все равно не открою. Потому что сейчас сама их не знаю. До такой степени не знаю, что смотрю на вас

и думаю: «А хорошо, что у меня теперь есть свидетель; не факт, что настоящий, но даже такой лучше, чем ничего». Вот настолько я не уверена – ни в себе, ни в реальности происходящего. И вообще ни в чем.

– Да, обычно именно так и бывает, – невозмутимо согласился он. – Всякая настоящая тайна сама себя – причем в первую очередь от себя же самой! – бережет. Я бы вам сейчас тоже ничего особо интересного не рассказал, даже если бы очень захотел похвастаться. Собственно, уже пару раз порывался, но открывал рот и начинал говорить что-то другое. Хорошо хоть не блеять беспомощно: «ээээээээ».

Он и правда заблеял таким смешным тонким голосом, что Эва рассмеялась от неожиданности, а когда успокоилась, увидела, что ее собеседника окутал туман. Не весь город, не улицу, даже не отдельный ее участок, а только отдельно взятого человека, сидящего напротив, особенно голову, так что лица уже почти не видно, удивительный эффект.

– Извините, – сказал он каким-то новым, хриплым, приглушенным, возможно как раз из-за облака, голосом. – Внезапно выяснилось, что мне срочно надо уходить; собственно, я уже ушел, просто не хочу снова показаться невежливой галлюцинацией. Потому что на самом деле я, во-первых, довольно вежливый. А во-вторых, не она.

С этими словами он исчез – посреди бела дня, на глазах у нескольких десятков клиентов кофейни и просто прохожих, которые, впрочем, не обратили никакого внимания на это беспрецедентное надругательство над законами физики, как несколькими секундами ранее не заметили туман. Зато оставил на столе початую пачку табака, жестянку с бумажками и хитроумную машинку для набивки – то ли в качестве доказательства своей достоверности, то ли просто по рассеянности. Эва смастерила несколько сигарет, просто для тренировки, получались они у нее пока, в лучшем случае, через раз. Наконец спрятала трофеи в сумку, весело думая: все-таки мама была не права, на самом деле я очень хозяйственная. Даже из галлюцинации практическую пользу способна извлечь.

Третий круг

Нёхиси

- Наш с тобой контракт истекает сегодня в полночь, - говорит Стефан.

Его собеседник, принявший человеческий облик не только для удобства и спокойствия остальных посетителей маленького пивного ресторана, но и ради собственного удовольствия, эта экзотическая форма существования его неизменно удивляет и смешит, картинно хлопает себя рукой по лбу:

- Ну точно! Контракт же! А я уже и забыл, что ты когда-то меня поймал.

У него ярко-синие волосы, узкие клетчатые штаны, бывшая красная, но давным-давно вылинявшая до розовой футболка с надписью на русском языке «Миру – миф»[5 - Копирайт на этот слоган принадлежит Корпорации «Необитаемое Время».], поверх нее кухонный передник с изображением толстого итальянского повара, окруженного змеящимися клубками спагетти, а на ногах ярко-желтые пляжные шлепанцы; словом, он выглядит, как совершенно обычный рядовой горожанин, выскочивший по-быстрому пропустить бокал пива с приятелем, прямо из кухни, где готовил ужин, видимо, где-то здесь рядом живет.

- Ровно двадцать два года назад по местному календарю, - кивает Стефан. - Но, справедливости ради, не столько поймал, сколько подманил, соблазнив сладкими обещаниями. Хрен тебя силой возьмешь.

- Да хорош заливать, - смеется Нёхиси, первый в истории дух-покровитель города с расширенными полномочиями, не рожденный в союзе земли с другими стихиями задолго до начала его строительства, а завербованный по контракту всемогущий бродяга из каких-то невообразимых неведомых мест. - Ты в этот свой бубен так тогда колотил, что обещаний я почти не расслышал. Но мне все равно понравилось. Я таких безрассудных нахалов люблю.

- Однако торговался ты как черт!

- Обижаешь. Как я, вообще никто не торгуется.

– И то правда, – легко соглашается Стефан, – куда им всем до тебя. Я предлагал испытательный срок хотя бы в сотню лет, просто чтобы успеть выдохнуть, залатать бубен и утереть со лба трудовой пот, но ты так ловко скинул до двадцати двух, что я сам не заметил, как согласился, хотя до тех пор был уверен, что в большинстве случаев слишком мало – даже хуже, чем ничего... А кстати, почему именно двадцать два?

– Да просто число хорошее. Я люблю числа, состоящие из одинаковых цифр. При этом мне очень не нравятся единицы. Возмутительное явление, не понимаю, как их вообще допустили. В единице нет ни обещания, ни опоры, ни даже обаяния обреченности, вообще ничего, кроме скучного факта ее одинокого существования; в каком-то смысле единица гораздо меньше, чем ноль, который хотя бы напоминает о вечности, как всякая пустота. Допускаю, что я несправедлив к единицам, не понимаю их загадочной сути, недооцениваю потенциал; с другой стороны, я же не пытаюсь их отменить. Пусть будут, если так зачем-нибудь надо. И даже сейчас не стал бы прилюдно их поносить, если бы ты не спросил, почему именно двадцать два. А это число – просто наименьшее из возможных, поскольку одиннадцать меня бесит. А за тридцать три года уже вполне можно успеть заскучать. Я же тогда вовсе не был уверен, что мне здесь понравится. Когда так настойчиво куда-то зазывают, велика вероятность, что с этим местом что-то крепко не так. Но ты не наврал, тут здорово. Даже дурацкие ограничения всемогущества оказались неожиданно в тему; это примерно как с баскетболом – хочешь интересной игры, обходись всего двумя кольцами. И одним мячом.

– Так ты остаешься? – спрашивает Стефан, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие.

На самом деле он немного боялся этого разговора; ладно, будем честны, не «немного», а до темного звона в горле, как не боялся очень, очень давно. Потому что на кон поставлено не просто до хрена, а почти все. Хуже было бы только договариваться с солнцем, что оно продолжит светить, хотя уже не обязано. Если захочет погаснуть, никто не сможет ему запретить.

– А ты сомневался? – изумляется Нёхиси. – Это каким же дураком надо быть, чтобы бросить такую игру! И таких партнеров, и место действия, и совершенно нового, такого смешного, удивительного себя. Я что, похож на дурака?

– Иногда – вполне. Но только потому, что отлично умеешь им прикидываться; с другой стороны, было бы странно, если бы именно выглядеть дураком ты, всемогущий, не мог.

– Будешь смеяться, но выглядеть дураком гораздо труднее всего остального. У меня в этом деле ни опыта, ни выдающихся способностей. Зато с учителем повезло. Ну и я довольно старательный. Если сразу не получилось, буду повторять упражнение, пока дым из ушей не пойдет – у всех случайных свидетелей. Свои уши все-таки жалко. Их не то чтобы много. Они у меня вообще не всегда есть!

– Это да, – авторитетно подтверждает Стефан, неоднократно становившийся тем самым случайным свидетелем, с дымом из ушей.

– Только чур больше никаких контрактов, – говорит человек в кухонном переднике и, вероятно в знак серьезности своих намерений, ставит опустошенный бокал на стол с таким громким стуком, что по асфальту от его ног разбегаются глубокие трещины, из которых, впрочем, тут же начинают бодро лезть во все стороны цветущие маргаритки, символизируя очередную победу хрупкой нахальной жизни над бессмысленным разрушением.

У Нёхиси вечно так. Даже когда он непритворно сердит, любое проявление его недовольства все равно заканчивается очередной обескураживающей демонстрацией торжества жизни, и хоть ты тресни. Нёхиси иначе просто не может, он – беспредельно добродушное божество.

Собственно, потому Стефан так в него и вцепился. По человеческим меркам, любой пограничный город – страшное место, просто в силу своей природы, так уж нелепо устроено в этом мире, что всякое настоящее чудо сторожит, охраняет от искушения окончательно сбыться неодолимый, несовместимый с разумной жизнью страх. Ужас небытия, скрепляющий тайные швы между реальностями, можно уравновесить только бесконечной добротой духа-хранителя, если он достаточно силен, чтобы вместить в себя гораздо больше, чем местность, которой владеет – все ее пограничные швы, темноту всех изнанок, сияние всех непостижимых возможностей; в общем, без всемогущества этот номер просто не пройдет. А сочетание всемогущества с добродушием – огромная редкость. Обычно всемогущие существа совсем не добры, хотя и не то чтобы злы, скорей, равнодушны к чужим делам и заботам. А Нёхиси все принимает к сердцу, о размерах которого лучше сейчас не задумываться: говорят, если человеческой

головой попытаешься вообразить бесконечность, в случае успеха непременно сойдешь с ума.

– Я хочу остаться просто так, без договора, условий, клятв, ритуалов и что там еще полагается, – говорит тем временем Нёхиси. – Только потому, что – ну а как иначе? Где мне еще быть? Это мой город. Куда мы с ним теперь друг от друга денемся? Я так решил; мы так решили. И все.

– Да вообще не вопрос, – с нескрываемым облегчением улыбается Стефан. – К чертям собачьим контракты. Я, между прочим, сам видишь, явился сюда с пустыми руками, без бубна и папки с бумагами. Потому что шел говорить с тобой не о работе. А исключительно о любви.

Нёхиси молча кивает, не поднимая глаз, зато в небе появляются сразу четыре радуги, да не простые, а почти вертикальные, этакие мосты между землей и небом, длинные и очень яркие, все как одна. Это, во-первых, красиво, а во-вторых, в достаточной степени невозможно, чтобы вызвать фурор, но избалованные практически ежедневными чудесами горожане не обращают на радуги никакого внимания, пожимают плечами: «Еще и не такое в природе бывает», – и бегут по своим делам. Только некоторые туристы растерянно топчутся, задрав головы к небу, пытаются сфотографировать радуги телефонами, но, конечно, ничего у них не получится, не останется ни единого доказательства, хочешь – помни, хочешь – забудь, тебе решать.

– А ведь ты действительно допускал, что я могу сбежать, едва дождавшись конца контракта, – наконец говорит Нёхиси. – И вот это по-настоящему странно! Вроде бы знаешь обо мне самое главное: как я теперь развлекаюсь и чем дорожу. Слушал небось, как я ругаю единицы и про себя ухмылялся: «Ясно, чего он так завелся, сам прежде был единицей, единственным во Вселенной, а теперь почувствовал разницу». Правильно ухмылялся. Ты меня раскусил, причем не сегодня, а сразу же, в первый момент – судя по тому, что соблазнял не наслаждениями, не властью, не обильной пищей для моей вечной бездны, а возможностью играть на равных с совсем иными, во всем отличными от меня существами. Я твою догадливость тогда высоко оценил. И вдруг внезапно выясняется, все это время ты во мне сомневался. Думал, я сплю и вижу, как отсюда удрать. Выходит, чего-то важного ты обо мне до сих пор не знаешь. Или я о тебе?

– Все же скорее второе, – улыбается Стефан. – Даже не то чтобы не знаешь, просто не учитываешь, что самое главное из моих, по большому счету, скромных умений – допускать все. Не только наиболее вероятное, предполагаемое, логически вытекающее из сложившихся обстоятельств и хотя бы теоретически возможное, а вообще все. Включая даже такое абсурдное развитие событий, как твой уход.

– Да, теперь, наверное, понимаю, – кивает Нёхиси. – Все-таки интересный эффект дает ограничение всемогущества: вдруг оказывается, что некоторые вещи можно понимать не сразу, а постепенно, задавая вопросы, выслушивая объяснения и обдумывая их. Сказал бы мне кто-то раньше, что так бывает, решил бы, что настолько медленное понимание – слабость, болезнь ума. Отчасти оно так и есть. Но оказалось, это очень приятная слабость! Мне настолько понравился мыслительный процесс, что ради него я согласен и дальше оставаться несовершенным.

– Да, при правильном подходе наше несовершенство становится дополнительным источником наслаждений, – соглашается Стефан. – Вот и я сейчас счастлив, как давно уже не был – только потому, что всерьез боялся предстоящего разговора.

– Пряма-таки боялся? Не верю.

– Зря не веришь. В свое время я положил немало сил, чтобы воспитать в себе способность бояться. И достиг отличного результата: я теперь феерическое трусло. Правда только в сугубо рабочих вопросах, но большего мне и не надо, на досуге я и храбрым вполне хорош. Зато за этот город я боюсь мастерски – не просто умом, даже не только сердцем, а всем своим существом. И кстати, имей в виду, это мое существо, которое с утра скулило от страха, а теперь ликует, как Творец за пять минут до начала Творения, с недоеденным бутербродом и охапкой чертежей подмышкой, твой вечный должник. Сделаю для тебя, что смогу, столько раз, сколько понадобится. Обращайся в любой момент. Пока мы с тобой существуем хоть где-то, хоть в каком-нибудь виде, мое слово твердо, а потом... ну, поглядим. Наверняка тоже что-нибудь сумею придумать. Я хитрый.

– Да, ты довольно хитрый, – меланхолично соглашается Нёхиси, – и, помолчав, добавляет: – Должник на совсем уж вечные времена – это все-таки слишком щедрое предложение. Я принимаю его с благодарностью, просто из уважения к твоему великодушию, но после прекращения нашего с тобой существования не

стану тебе припоминать. Зато вот прямо сейчас действительно есть проблема по твоей части...

– Знаю, о чем ты, – кивает Стефан. – Только это вообще не проблема. Совершенно нормальное течение событий. Чего ты тревожишься? Так уже было сто раз.

– Не в такой острой форме. Он уже почти целых три дня меня не видит и даже не слышит. И, похоже, больше не верит в меня. Эта – ну, знаешь, его любимая бредовая идея, будто он меня выдумал, снова жива и даже получила почетное звание «разумного объяснения». Хотел бы сказать, что это просто смешно, но на самом деле не очень. Мне не всякий абсурд по душе.

– Говоришь, целых три дня? Действительно перебор. За три дня я бы и сам в чем хочешь разуверился, начиная, собственно, с тебя... Кстати, а ты котом становиться не пробовал? И в таком виде прийти?

– Нет, – озадаченно отвечает Нёхиси.

– Ну и напрасно. Золотое правило всякого наваждения: в любой непонятной ситуации становись котом.

– Думаешь, поможет?

– По идее, должно. В самом худшем случае, просто навалешь ему в тапки. Хоть душу отведешь.

Альгис

Память вернулась к нему внезапно, глубокой ночью, когда стоял у окна, открытого для проветривания, и смотрел на разноцветные огни далеко, за рекой – зеленые на здании Центрального универмага, красные на крыше гостиницы «Рэдиссон», желтые на небоскребах делового центра, невыносимо яркие синие... а черт их знает, где именно. Где-нибудь еще.

Наверное, на таком расстоянии свет не считается светом, по крайней мере, от далеких огней боль не возвращалась, сколько на них ни смотри, хотя Альгис уже

дней десять не рисовал и вообще ничего не делал, даже не мылся и почти ничего не ел, вместо кофе пил горячую воду: вскипятить чайник проще, чем разбираться с новой дорогой швейцарской машинкой, которую подарила Тамара, или, тем более, что-то варить. Часами смотрел в темноту, иногда кино на компьютере, ну или вот, разнообразия ради, в окно. Больше ничего не хотелось, просто не было сил, да и смысла как-то внезапно не стало – ни в трамваях, ни в рыбах, приплывавших к нему из чужой, без спроса и права присвоенной темноты, ни в регулярных бодрых посланиях Томки, остававшихся почти без ответов, ни в его затворническом существовании, ни в шумно бурлившем снаружи тошнотворно чужом человеческом мире, ни в картинах, ради которых все якобы затевалось. Разве только в отсутствии боли смысл по-прежнему был. Поначалу Альгис боялся, что от праздности боль вернется, чутко прислушивался к себе, готовый схватиться за кисти при первом ее приближении, но по мере того, как бесконечно долгие, печальные, но безмятежные дни сменяли друг друга, страх превращался в надежду, а она – в робкое, осторожное, но уже почти настоящее торжество.

Рано радовался, вместо боли вернулась память, и теперь, задним числом, предоставь ему кто-нибудь выбор из этих двух зол, Альгис без колебаний выбрал бы старую добрую боль, потому что нет муки горше воспоминаний о навсегда утраченном доме, о счастье, ставшем для тебя невозможным, и людях, которых все эти годы, сам того не осознавая, любил больше жизни, вернее, вместо нее.

Вспомнил он, конечно, не все, даже не половину, хорошо, если десятую часть, это и самому было ясно. Пробелов оказалось так много, что восстановить маломальски связную историю своей жизни почти не было шансов. Только отдельные эпизоды, по большей части, вырванные из контекста, до сих пор ему почти неизвестного, зато такие яркие, достоверные, что захочешь, а не усомнишься в их подлинности. Хотя говорят, именно так и выглядит безумие: оно не допускает сомнений. Но мало ли, что говорят.

Долго разглядывал маленький бледный, почти незаметный шрам на правой ладони. Никогда не знал, откуда он взялся, покойные дед и бабка тоже не знали, да и с чего бы им знать, некому знать, не было никаких деда и бабки, не могло их быть, только причудливые ложные воспоминания поверх настоящей памяти, как иногда проснувшись, какое-то время продолжаешь принимать за чистую монету все, что случилось во сне, а о своей настоящей жизни ничего не

помнишь, вот так и со мной случилось, – думал Альгис. – Только я просыпался долго, слишком долго, почти двадцать лет. Мне сейчас сколько? Сорок? Вроде бы сорок. А в одном из последних воспоминаний о доме мы с друзьями пришли к маме Рите, чтобы отпраздновать с нею мои двадцать два. А дальше, кажется, ничего не было, то есть старше я становился уже не там. Или все-таки там, просто пока не вспомнил? Странная штука память: только когда она к тебе возвращается, понимаешь, насколько ей нельзя доверять.

Ладно, по крайней мере, со шрамом теперь все ясно: бежал по улице навстречу выходящему из трамвая отцу, упал неудачно, поранился осколком бутылочного стекла; больно, кстати, почти не было, зато было страшно, очень уж много крови из руки потекло, и одновременно ужасно обидно, что так позорно не добежал, упал как последний дурак, и теперь папе придется возиться с бинтами вместо того, чтобы просто подхватить его на руки, подбросить, поймать и закружить.

Если я уже умел быстро бегать и папа при этом еще жив, значит, мне тогда было примерно три года, максимум – четыре. Мама Рита говорила, когда погибли родители, мне еще не исполнилось пяти, – рассуждал Альгис. Эти подсчеты его успокаивали: пока скрупулезно загибаешь пальцы, можно не задумываться ни о чем другом. Не вспоминать дорожку, ведущую к дому, посыпанную специальным декоративным крупным светлым песком, светившимся по ночам; здание школы, похожее на игрушечный королевский замок из цветных кирпичей; музыку в ресторане на площади, не такую, как здесь, не тошнотворное, оупляющее умца-умца, доносящееся буквально отовсюду, а настоящую танцевальную музыку, полную жизни, веселящую кровь; синюю черепицу крыши, где проводил больше времени, чем в своей комнате; трамвай, на котором катались с друзьями тайком от взрослых, иногда аж до самого парка на окраине; страшный фильм про вампиров в кинотеатре Кровавой Бет, ради развлечения зрителей проверявшей билеты в карнавальном костюме чудовища, с окровавленным топором подмышкой; насмешливый голос мастера Лайзы: «Не старайтесь аккуратно провести линию, ей надо – пусть сама и старается, а вы просто следите, куда она вас приведет»; какое-то торжество в городской мэрии, где ему вручили маленькую хрустальную медаль, черт его знает, за какие заслуги, может быть, просто за успешное окончание учебы? Или спас кого-нибудь при пожаре? Или выиграл соревнования? Нет, не помню. На этом месте пробел.

Сперва казалось, так много вспомнил, а на самом деле, считай, почти ничего. Только лабиринты улиц и переулков, иногда таких узких, что вдвоем, плечом к

плечу не пройдешь, и настолько запутанных, что, поспешив, непременно заблудишься, даже если с детства здесь живешь; странных прозрачных птиц, прилетавших в город каждую осень и кричавших громкими пронзительными голосами на непонятном, но похожем на человеческий языке; румяную корочку лукового пирога, который впервые испек сам, без помощи и подсказок; отполированный временем и мамы Ритиными руками руль ее старого автомобиля; первую поездку на каникулы к Вечному морю с ярким голубым рюкзаком и триумфальное возвращение домой на аэроплане: на пляже случайно подружился с пилотом, и тот решил его прокатить; горький аромат зимних хризантем в саду преподавателя скульптуры; игрушечных рыб, которых каждый год по весне развешивали на деревьях, низачем, просто для красоты, и когда они раскачивались на ветру, словно действительно плыли, начинало казаться, будто попал на морское дно; вкус орехового мороженого в кондитерской по соседству; картины в городской галерее искусства Другой Стороны, неизменно вызывавшие у него восхищение, граничащее с физической мукой; пеструю кошку, которую ему поручали кормить, когда соседи были в отъезде; два одинаковых тонких профиля – Марека и Марины, брата и сестры, близнецов, так до сих пор и не знал, кого из них любил больше, но ему и не пришлось выбирать.

– Не надо, пожалуйста, – вслух сказал себе Альгис, – вот про них думать точно не надо, я от этого сразу сойду с ума.

Смешно. Как будто до сих пор не сошел.

Стоял у распахнутого окна, смотрел на огни за рекой, спокойно, почти ласково думал: как же сильно я это все, оказывается, ненавижу. И всегда ненавидел, только не знал почему. Поэтому приходилось постоянно изобретать аргументы, притягивать за уши убедительные доказательства своей правоты и свято им верить, столько усилий ради того, чтобы позволить себе ненависть ко всему миру сразу: люди – свиньи, жизнь – суетливая толчея у корыта с кормом, все заточено под самых негодных, бессердечных мерзавцев, только им тут и хорошо, справедливости не бывает, возвышенные разговоры – вранье, искусство не нужно вообще никому, кроме дилеров, да и тем только для заработка, и как не старайся противостоять обстоятельствам, сохранять достоинство и не предавать идеалы, финал все равно одинаков для всех: старение, неизбежная деградация, унижительное гниение заживо, мучительная смерть; в лучшем случае, только она одна, без предварительных ласк – для того, кому хватит удачи и храбрости умереть молодым.

Даже забавно теперь вспоминать, как я старался, сгущал краски, нагнетал безнадежность, чтобы разрешить себе ненавидеть и горевать. На самом деле люди как люди – всякие, разные, и жизнь у них тоже разная. У многих, наверное, вполне неплохая, даже очень хорошая, полная недоступных мне смысла и радости жизнь. А что мне не подходит, ничего удивительного: я здесь чужой, и все для меня чужое, не только люди и их дела, но и воздух, вода, звуки, даже свет; в первую очередь свет, то-то мне так полегчало, когда я зашторил окна и перестал включать лампы по ночам. Я не мрачный мизантроп, не никчемный слабак, не размазня и не нытик, просто Другая Сторона есть Другая Сторона. Почему я здесь оказался? – вот вопрос. Ясно одно: не по своей воле. Я себя знаю, не мог добровольно уйти оттуда, где был так счастлив, от тех, кого любил. И кстати, просто технически не смог бы. Я не способен сам перейти границу. Чего-чего, а такого таланта у меня отродясь не было. В юности я об этом горько жалел, люто завидовал новобранцам из Граничной полиции и контрабандистам, у которых мы с мамой Ритой покупали сигареты с Другой Стороны; впрочем, не столько самим путешествиям на Другую Сторону, сколько ореолу окружавшей их тихой, таинственной славы. Когда тебе восемнадцать, славы и тайн хочется даже больше, чем любви. И обойти все музеи хочется примерно так же сильно, как славы. Я же тогда как раз натурально сходил с ума от искусства Другой Стороны. А теперь сам стал художником Другой Стороны – это даже забавно. То есть могло бы показаться забавным, будь это кино или книжка, а не моя настоящая жизнь.

Уснуть, конечно, не смог – ни в ту ночь, ни утром, ни днем, ни на следующую. В общем, и не надеялся на такую поблажку, но время от времени упрямо ложился в постель и закрывал глаза. От этого делалось только хуже, воспоминания становились ярче, чувства острее, тяжесть и густота воздуха начинали казаться невыносимыми, так что подскакивал от приступа удушья, держась за грудь, хватая ртом воздух, как вытщенная из воды рыба; рыбы-рыбы, проклятые рыбы, так вот вы были о чем.

Уговаривал себя: это просто игра воображения, нервы, самовнушение, дышал же ты как-то все эти годы, – понемногу успокаивался, снова ложился, и все повторялось, опять, и опять, и опять.

Отыскал в шкафу бутылку коньяка, оставшуюся от старой жизни, до темноты, когда ему еще нравилось выпивать. Обрадовался, но, как оказалось, зря. Коньяк

вообще не подействовал, остался трезвым, измученным, смертельно усталым, переполненным лютой нездешней тоской и воспоминаниями – своими, чужими, домашними, здешними, всеми подряд – с таким же успехом можно было выпить воды из-под крана и продолжать терзаться бессонницей, которая все меньше походила на обычное бодрствование и все больше на ад.

Перерыл коробку с лекарствами в надежде найти снотворное, но там были только три пачки разных обезболивающих, в каждой осталось всего по паре штук, какие-то витамины, полтора десятка нераспечатанных коробочек с лейкопластырем, жалобный одинокий презерватив и несколько упаковок активированного угля – такой нелепый набор, что даже смешно. Тем не менее, рылся в проклятой коробке снова и снова, словно таблетки могли там внезапно появиться, материализоваться от силы его желания, как иногда получалось дома. А здесь так никогда не бывает, давно мог бы привыкнуть: эта реальность жестка, неподатлива и сурова, если чего-то нет, его и не будет, пока не предпримешь заранее оговоренную последовательность неизбежных тягостных действий. А сила желания – полная фигня.

Звонить врачу, записываться на прием, ждать, сколько понадобится, выходить из дома в этот адски сияющий солнечный летний мир, ехать, здороваться, разговаривать, объяснять и просить, а потом идти с рецептом в аптеку было невыносимо, невозможно, даже думать об этом невыносимо, лучше уж дальше не спать.

Была бы Тамара в городе, попросил бы ее привезти снотворное, она точно смогла бы это быстро организовать, но Тамара как раз уехала, очень невовремя, то ли в Швецию, то ли в Норвегию договариваться о будущей выставке, вернется еще нескоро, дней через пять. Думал, скрежеща зубами от злости, бессильно стуча кулаком по стене, так, что до крови разбил костяшки: Томка моя хорошая, Томка – золото, что бы я без нее делал, ясно, что ничего, сдох бы давным-давно, туда и дорога, но какого же хера эта тупая жирная сука свинтила из города именно сейчас, когда в кои-то веки, впервые в своей сраной никчемной жизни по-настоящему, позарез мне нужна?

Стоп, – говорил он себе, изумляясь собственной ярости, – стоп, не надо так думать о Томке, это нечестно, несправедливо, да просто подло, так нельзя. Нельзя, конечно, но был зол на нее, как еще ни на кого, никогда в жизни не злился, потому что без снотворного не уснуть, а его нет и непонятно, где взять,

как добыть без рецепта, без поганой бумажки, коряво исписанной человеческими руками – как вообще можно было такое придумать? Чтобы одни люди разрешали другим получить облегчение от страданий, а те, кому не досталось разрешения, продолжают мучиться, пока не издохнут, ничего личного, просто таков порядок, добро пожаловать на Другую Сторону, детка, здесь так заведено.

На исходе третьего дня то ли уснул, то ли просто потерял сознание; на самом деле неважно, главное, что какое-то время Альгиса не было, и вообще ничего не было, нигде, никогда. Жаль, что совсем недолго: перед тем, как исчезнуть, стоял у распахнутого окна, за которым начинали синеть предрассветные сумерки, а когда очнулся, солнце еще не поднялось над крышами невысоких соседних домов, хотя светло уже все-таки стало. Невыносимо, тошнотворно светло.

Шатаясь, поднялся на ноги, поспешно закрыл окно, снова рухнул на пол, лег на бок свернулся, подтянул колени к подбородку, эта поза когда-то помогала ослабить боль в животе, а сейчас хоть немного, да замедляла бег суетливых обрывочных мыслей, и это было лучше, чем ничего, настолько лучше, что снова почти задремал. И вдруг подскочил – на этот раз не от удушья, а от ужасной догадки: я здесь потому, что меня сослали. За что-то наказали меня.

Подумал: вот теперь все сходится. И самое загадочное, необъяснимое из воспоминаний о комнате с черными стенами, где он сидел за огромным столом, строгой молодой женщине в круглых очках и людях с печальными лицами, совавших ему какие-то бесконечные бумаги, не то на подпись, не то просто для ознакомления, наконец-то обрело смысл. Хотя, честно говоря, лучше бы не обретало. Но что уж теперь.

Меня сослали, – думал Альгис. – Меня сюда просто сослали. Интересно, что я такого ужасного натворил? За убийства у нас вроде бы не ссылают... да у нас вообще ни за что не ссылают на Другую Сторону! Все знают, как опасно застрять тут надолго, такого наказания просто не может быть. Из города могут выслать, это да; самая крайняя мера для особо обнаглевших контрабандистов, якобы ради их же безопасности... Впрочем, я же доброй половины всего пока не помню, а разных секретных полицейских приемов и правил вообще никогда не знал. Может, на Другую Сторону все-таки ссылают, но тайно? А родственникам говорят, будто преступник умер в тюрьме от раскаяния и простуды, не дождавшись суда? Вдруг я действительно кого-то убил, да с такой изощренной

жестокостью, что реальность наотрез отказалась и дальше меня вмещать? Или пытался свергнуть правительство? Шпионил в пользу Полночной Адарики? Ограбил Заветный Банк, где хранятся сокровища наших предшественников, древних, давно развеществившихся миров? Разрушил маяк? Колдовал, призывая враждебных демонов-людоедов из глупого фантастического романа, и нечаянно преуспел? Присвоил чужое время? Не дал исчезнуть покойнику? Натравил на соседа чужую Незваную Тень? Взорвал полицейское управление? Даже смешно представить.

Впрочем, нет. Совсем не смешно. Потому что я сижу здесь, на Другой Стороне, в этой адовой жопе, без малейшей надежды вернуться, а значит, любое абсурдное предположение может оказаться страшной правдой о моей жизни. Меня сослали. Мать твою, по-настоящему выслали на Другую Сторону! Всего, целиком, навсегда. Меня!

Люси

– А теперь обратите внимание на трещины в этой стене, – объявила Люси. – Это только на первый взгляд обычные трещины, а на самом деле – следы прикосновений неумолимого Кроноса; он, как многие пенсионеры, любит путешествовать и до нас однажды добрался; хотела бы похвастаться, что провела для него экскурсию, но нет, к сожалению, он сам, без меня тут ходил. А возле этого дома остановился и зачем-то погладил стену, результат налицо. Впрочем, судя по состоянию стен в Старом городе, Кронос тут с доброй половиной домов обнимался. Расчувствовался старик. И теперь время в Вильнюсе течет как попало: в тех кварталах, где Кронос был особенно счастлив, оно почти замирает, в таком месте можно пол-дня провести, а потом свернуть за угол и выяснить, что прошло всего пять минут, вы никуда не опоздали, ничего не пропустили, весь день у вас еще впереди. А вот в одном баре – не здесь, на бульваре Вокечю, я вам потом покажу, если будем проходить мимо – то ли его не приветливо обслужили, то ли ему просто показалось, старики, сами знаете, часто бывают мнительны; в общем, не знаю, как дело было, но Кронос на них разгневался, и с тех пор в тот бар лучше не заходить. Выпьете в обед бокал пива, перекинетесь парой слов с каким-нибудь сумрачным незнакомцем, выйдете на улицу, а там уже поздний вечер, и хорошо еще, если сегодняшнего, а не завтрашнего дня. Я сама однажды так влипла, собственную лекцию пропустила, не провела экскурсию и на свидание не пришла. Обидно было, хоть плачь!

Экскурсантки удивленно переглянулись и заулыбались – не натянуто, не из вежливости, а искренне, от души. «Хорошие все-таки тетки, – умиленно подумала Люси. – А я-то хотела их подразнить».

Люси довольно редко ошибается в людях, она преподаватель с пятнадцатилетним стажем и опытный экскурсовод. Но, как говорят, и на старуху бывает проруха. Вот и на Люси – тоже она. Вернее, они, две солидные с виду дамы в таком специальном роковом возрасте за пятьдесят, когда многие женщины почему-то начинают походить не столько на людей, сколько на воплощение мирового зла, даже Мирового Зла с большой буквы. Почти вне зависимости от природных физических данных и личных душевных качеств, вообще непонятно почему.

Ну, то есть на самом деле понятно: в безопасном цивилизованном мире подавляющее большинство неприятностей обрушивается на человека при активном участии женщин в возрасте, слишком дорогой ценой получивших мелкую власть над ближними – все эти строгие училки, требовательные начальницы, скандальные матери, злющие тещи со свекровьями, бессердечные чиновницы, равнодушные врачи. Редкие счастливики, избежавшие печального личного опыта столкновений с суровыми склочными дамами, добирают его из рассказов знакомых, жалоб в соцсетях, кинофильмов, анекдотов – ну, в общем, просто сложился вот такой культурный стереотип. Нечестный и глупый, как любые другие стереотипы, зато цепкий – тоже как все они.

Люси прекрасно это все понимала; тем не менее, солидные тетки в возрасте, прилично одетые, с аккуратными стрижками и обязательным макияжем, без шика и сумасшедшинки, неизменно действовали на нее, как красная тряпка. Ей сразу хотелось их подразнить.

Справедливости ради, Люсино «подразнить» обычно означает просто дополнительное удовольствие – для тех, кто способен по достоинству оценить экскурсовода, бесовестно разбавляющего полезную историческую информацию о городе вдохновенным гоном вроде давешнего монолога о Кроносе. Причем клиентам, сумевшим понравиться Люси с первого взгляда, достается ровно то же самое, хоть и по диаметрально противоположной причине. Смешно все-таки устроен человек.

Сегодня на Люси свалились две солидные тетки сразу. Очень крупная брюнетка с красивым, по-учительски строгим лицом, одетая, как не особо удачная ходячая реклама «Маркса и Спенсера», и миниатюрная, остроносая, как птичка, с аккуратно уложенными рыжеватыми кудряшками, в светлом костюме из дешевой блестящей ткани и туфлях на, прости господи, каблуках, почти гарантировавших преждевременное завершение экскурсии по техническим причинам, знаем мы эти каблуки. Впрочем, пока рыжая цокала очень бодро, то и дело обгоняла грузную подругу и вдохновенно вещающую Люси, а потом останавливалась их подождать.

Тетки были из Москвы; Люсину экскурсию им подарил не то племянник, не то крестник крупной брюнетки, в общем, кем-то ей приходившийся молодой человек, приятель сына коллеги, сама Люси его даже не видела: обо всем договорились в ватсапе, гонорар – на пейпал.

Люсины экскурсии часто заказывают в подарок, как дарят полет на воздушном шаре, мастер-класс по керамике или поездку на загородный концерт – понятный формат короткого приятного приключения примерно на треть выходного дня. Люси окружает тихий камерный ореол совершенно заслуженной славы самого обаятельного городского экскурсовода, так что желающие приятно удивить близких и помочь им быстро полюбить Вильнюс ни к чему не обязывающей безмятежной любовью, которую легко и приятно испытывать к чужим городам и почти невозможно к родному, не переводятся; собственно, обычно их даже больше, чем Люси способна втиснуть в свое расписание между двумя другими работами, танцами, свиданиями и всем остальным интересным и важным, поэтому иногда приходится бросать монетку, или тянуть бумажку, чтобы выбрать, для кого провести экскурсию в ближайшие выходные. На то и судьба, чтобы глупому человеку такие вопросы в одиночку не решать.

Тетки, надо отдать им должное, выиграла при непростом раскладе один к пяти. На этой неделе Люси могла провести только одну экскурсию, а желающих оказалось даже больше, чем обычно. Выбирала бы сама, разорвалась бы на части, а так все просто, вытащенная из кепки бумажка сказала: «Алена и Алевтина», – значит, Алена и Алевтина, точка. Остальным не повезло.

– А в этом кафе время, случайно, не замедляется? – вдруг спросила брюнетка, указывая на застекленную веранду бара «Аделия» на углу площади Йоно Жемайчо и улицы Лейиклос, по которой они сюда пришли. И смущенно

добавила: – Очень хочется немного посидеть. У меня ноги быстро устают... Понимаете, я Лешке никогда на ноги не жаловалась, зачем молодому мальчишке о чужих болячках слушать. Поэтому он подарил мне пешую экскурсию на несколько часов, не подозревая, что это не совсем мой формат. А я пожадничала и согласилась, чему сейчас очень рада. Обидно было бы такую экскурсию упустить.

– Ой, как плохо! – огорчилась Люси. – Зря вы заранее мне не сказали, что вам трудно ходить. Я бы попросила друга с машиной покатать нас по городу, у меня даже есть такой специальный экскурсионный маршрут...

– Все не так страшно, – поспешно сказала та. – Не настолько, чтобы меня в автомобиле всюду возить. Я, слава богу, не инвалид. Если иногда давать ногам передышку, нормально буду ходить. Извините, что сразу не предупредила. Я подумала, мы же все равно будем иногда останавливаться, чтобы кофе выпить, или просто на лавочке посидеть. Аля вон даже туфли на каблуках специально надела, чтобы по-честному вместе со мной хромать. Но я, как видите, все равно первой ныть начала.

Правда про каблуки поразила Люси в самое сердце. Думала, туфли на каблуках в представлении маленькой рыжей дамы – обязательный атрибут приличной, «женственной», как говорят, одежды, вот и носит их в любых обстоятельствах, наплевав на здравый смысл и комфорт. А оно вон как. «Чтобы по-честному»! Сколько в мире людей, столько удивительных способов деятельно сострадать.

– Ладно, – наконец сказала Люси. – По моим сведениям, время в «Аделии» течет просто нормально. Обычным образом. Что само по себе делает этот бар одной из уникальных достопримечательностей Старого города – настолько заурядное место у нас еще поди отыщи. Поэтому у меня деловое предложение: кофе будет за ваш, а время – за мой счет. Я имею в виду, не станем вычитать его из экскурсии, продлим ее, на сколько потребуется, пока не пройдем весь запланированный маршрут. К тому же в этом баре, тоже найдется, о чем рассказать. Сам-то он и правда до смешного обыкновенный, зато площадь напротив него – одно из самых удивительных мест в нашем городе.

– Вот эта площадь? – недоверчиво переспросила рыжая Алевтина, во все глаза разглядывая огромную автомобильную стоянку перед Министерством Обороны.

– Именно, – подтвердила Люси. – Пока будем пить кофе, я вам об этой площади расскажу.

– Черный чай с лимоном, капучино и американо, пожалуйста, – сказала Люси официанту, который подошел прежде, чем они успели сесть за стол; его расторопность была легко объяснима: в баре кроме них сейчас вообще никого. Лето – плохое время для заведений без открытых веранд.

Усевшись, Алена и Алевтина умоляюще уставились на Люси, как дети, которым за хорошее поведение пообещали сказку, а теперь почему-то молчат. Даже не спросили, как Люси узнала, кто чего хочет; обычно все спрашивают, и тогда она с удовольствием отвечает: «Случайно получилось», или: «Гадала с утра по Книге Перемен, специально чтобы произвести впечатление», или: «Сказывается профессиональный опыт», или даже: «Это наследственное, у меня в роду все пророки». В общем, когда как, по настроению. Правда же заключается в том, что Люси сама понятия не имеет, почему всегда угадывает, кому какие заказать напитки. И подозревает, что на самом деле ни черта она не угадывает, просто говорит достаточно убедительно, чтобы остальные поверили, будто именно этого и хотят.

– Я собираюсь с мыслями, – объяснила своим спутницам Люси. – И жду, когда принесут наши чай-кофе, чтобы потом не перебивали.

Она, конечно, вовсе не собиралась ни с какими мыслями – было бы с чем собираться, открыла рот, и понеслось – а строго вопрошала себя: «Совсем ты, мать, охренела? Ты что, правда собираешься кормить каких-то левых московских теток байками об Этой Стороне?»

И рассудительно отвечала себе по всем пунктам: «Во-первых, тетки не левые, а отличные. А я сначала подумала, противные дуры; такие чужие мысли никому не идут на пользу, так что теперь я перед ними в долгу. Во-вторых, от баек не убудет, сколько народу ими ни накорми, а городу и мне радость: я уже месяца полтора ничего по-настоящему интересного никому не рассказывала, какая-то невдохновляющая публика косяками шла. А в-третьих – ну да, я совсем охренела, и это уже давно не новость, но все равно хорошая. Скажешь, нет?»

– Так вот, что касается площади за окном. Согласно ряду малоизвестных городских легенд о тайной Изнанке Вильнюса, именно в этом месте нашей Изнанки находится одна из красивейших тамошних площадей, которая называется площадью Восьмидесяти Тоскующих Мостов, – начала Люси и внимательно посмотрела на своих визави, потому что охренела-то она охренела, но все же не настолько, чтобы совсем забыть на реакцию аудитории. Если будут сидеть с кислыми рожками, тему лучше сразу сменить, благо непринужденно перескакивать с одного предмета на другой, как будто так и задумано, Люси умеет, опыт есть опыт. Плюс врожденный дар.

Но у рыженькой Алевтины глаза стали совершенно круглыми, а Алена прижала маленькую чайную чашку к своей огромной груди и восхищенным шепотом переспросила:

– Городские легенды о «тайной Изнанке»? У вас и такие есть?

– Есть, – невозмутимо подтвердила Люси. – Правда, как я уже сказала, крайне малоизвестные. За всю свою жизнь я их слышала только от двух человек; один из них был моим родным дедом, второй – университетским профессором, причем теоретической физики, а не как вы наверное подумали, каких-нибудь гуманитарных наук. Друг с другом они совершенно точно не были знакомы, поэтому я более-менее уверена, что дедушка Жюль эти легенды о тайной Изнанке не выдумал, хотя с него бы, конечно, случилось. Но все-таки нет.

– А почитать?.. – без особой надежды спросила Алевтина. – Или только по-литовски?..

– Почитать не получится, – развела руками Люси. – Ни по-литовски, ни по-русски, ни на любом другом языке. Так уж получилось, что все немногочисленные знатоки тайной городской мифологии, включая меня, слишком ленивы, чтобы ее записывать. Зато я могу часами на эту тему болтать.

– Пожалуйста! – хором попросили подруги, а Алена добавила:

– А как эти ваши легенды описывают городскую Изнанку? Какая она? Откуда взялась?

– Откуда взялась, хороший вопрос. Но не совсем по адресу. С этим – к Творцу Вселенной. А я только и могу сказать, что, согласно нашим легендам, Вильнюс – пограничный город. Причем речь не о белорусской границе, которая и правда недалеко, а о границе между мирами, или реальностями, или, если угодно, разными измерениями – тем, кто в детстве зачитывался научной фантастикой, так, наверное, будет понятней всего. Утверждают – учтите, это не я утверждаю, не мои друзья и даже не британские ученые, а всего лишь городские легенды, спорить с которыми бессмысленно по причине специфики самого жанра – что во Вселенной много разнообразных миров, в том числе и одновременно сосуществующих в одной точке и пересекающихся друг с другом лишь отчасти. И границ между такими мирами, конечно же, тоже много, в самых разных местах. Вот и у нас в городе тоже проходит такая граница. Так уж нам повезло.

– Повезло, – эхом повторила Алевтина, а Алена просто мечтательно улыбнулась.

Надо же, как хорошо им зашло.

– Можно сказать, – продолжила Люси, – что у Вильнюса есть своего рода тайная тень, брат-близнец, незримый и обычно недостижимый, но явственно присутствующий где-то совсем рядом и самым фактом своего бытия изменяющий нашу жизнь. Эти два города, с одной стороны, очень похожи, а с другой, непохожи совсем, потому что имеют принципиально разную природу. Наша реальность инертна и тяжела, зато очень устойчива. Невзирая на бесспорные достижения философских наук, сеющих в умах соответствующие сомнения, о нас все-таки можно более-менее твердо сказать, что мы есть. А с нашей тайной, невидимой тенью, дела обстоят не так просто. Согласно все тем же малоизвестным, но, слава богу, чрезвычайно живучим городским легендам, жизнь в той реальности легка и полна волшебства, зато и ненадежна. Все в любой момент может измениться до полной неузнаваемости, рассыпаться, развалиться, а то и просто исчезнуть. Солнце зайдет, луну скроет туча, погаснет фонарь, и тени не станет; я, конечно, сейчас говорю про обычные тени, которые отбрасывают предметы, но, по сути, очень похоже: всякая тень – штука ненадежная, просто в силу своей природы. Нет никаких гарантий, что она будет всегда; более того, мы можем быть совершенно уверены, что тень вскоре изменит размеры и форму, а то и вовсе исчезнет. И, кстати, это плохая новость не только для наших соседей, но и для нас самих: без тени нашему городу лучше бы не оставаться. Из соответствующей художественной литературы всем прекрасно известно, какие именно существа не отбрасывают тень. В них нет ни жизни, ни смысла, один только неукротимый голод по тому и другому. Иными

словами, совсем беда.

Тетки дружно вздохнули – дескать, ну как же так?

– Спокойствие, только спокойствие, – бодро сказала Люси. – Тень города пока что на месте и твердо намерена продолжать в том же духе. Благо жители нашей тайной изнаночной стороны, вовсе не считают нас какой-то там «тайной изнанкой», не сочиняют про нас легенды, а просто знают о нашем существовании, как мы – о наличии луны в небе и сметаны во всех супермаркетах. И регулярно приходят к нам в гости. Им это довольно легко дается, правда, не всем подряд, только некоторым, но сути это не меняет: мы в них не верим, зато они о нас знают и постоянно мотаются туда-сюда. Особенно тамошние контрабандисты, то есть люди, которые покупают здесь и переправляют на Изнанку товары, пользующиеся спросом у их соотечественников. В основном сигареты, канцтовары и, не поверите, золото, у них там есть только белое, а желтого почему-то нет; интеллектуалы тащат домой книги, особенно художественные альбомы: от нашего изобразительного искусства они без ума. Поэзию очень любят, романы читают с большим удовольствием, а вот нашу музыку, за редким исключением, не выносят, и кинофильмы тоже, для них наблюдать нашу жизнь такими большими, плотными, эмоционально заряженными кусками чересчур тяжело. Но самое главное, конечно, не это. Я имею в виду, не вылазки за сигаретами, карандашами и альбомами издательства Taschen[6 - Немецкое издательство, одно из крупнейших в Европе специализирующихся на издании художественных альбомов и книг по истории искусства, живописи, архитектуры, дизайна и моды.]. Важно вот что: жители нашей тайной Изнанки научились крепко за нас держаться, как легкая нейлоновая палатка удерживается кольями, вбитыми в твердую землю. И с тех пор их дела стали налаживаться. Я имею в виду, не такие уж они теперь и зыбкие. Метафорически говоря, эта тень уже не исчезнет, хоть все фонари разом погаси.

– А как именно они держатся? – спросила Алена так напряженно и требовательно, словно сама была чьей-то тенью, и узнать секрет хотела из сугубо практических соображений, чтобы не пришлось исчезать.

– Мосты, – коротко объяснила Люси. – Они построили Мосты... А знаете, что на самом деле плохо?

У теток сделались такие трагические лица, словно прямо сейчас мог наступить конец света. Причем исключительно по их вине.

– Плохо только то, что в баре нельзя курить, а все остальное просто отлично, – поспешно сказала Люси. – Подождете меня пять минут? Вернусь и расскажу дальше.

– Давайте просто расплатимся и все вместе выйдем на улицу, – предложила Алена. – Можем посидеть вон там, прямо на лестнице, – она махнула рукой в сторону Министерства Обороны. – У вас же так разрешается? Никто не прогонит, не сделает замечание? По крайней мере, какой-то с виду вполне приличный мужчина сейчас на ступеньках сидит.

– И еще девчонки какие-то, – вставила Алевтина, всем своим видом выражая согласие протереть своей светлой юбкой столько городских лестниц и тротуаров, сколько понадобится. Такая молодец.

– Туристам, готовым сидеть на бордюрах и ступеньках, я обычно делаю скидку, – улыбнулась Люси. – Просто за удовольствие иметь с ними дело. Поэтому на следующем привале все напитки будут с меня.

– Я обещала рассказать про площадь Восемидесяти Тоскующих Мостов, которая якобы соответствует этому месту на нашей тайной Изнанке, – начала Люси после того, как они расселись на ступеньках Министерства Обороны. – Но это, сами видите, непростая тема! Сначала пришлось объяснить, что за Изнанка такая. И что это за Мосты. Вернее, кто они такие. И зачем нужны. Зачем нужны, я надеюсь, теперь более-менее понятно: чтобы наша тайная тень оставалась цела и настолько неизменна, насколько это вообще возможно для реальности, сотканной из слишком тонкой материи, которую нормальные, ответственные демиурги обычно пускают исключительно на изготовление самых простых недолговечных грез. А «Мосты» – это люди, рожденные на Изнанке нашего города, но подолгу живущие среди нас. Их всегда восемьдесят, почему-то считается, будто это оптимальное число; тут остается только поверить на слово специалистам. У этих людей такая работа: жить в чужом, совершенно неподходящем для них мире, в полной уверенности, будто они здесь родились, почти ничего не помнить о доме и при этом люто о нем тосковать. Человеческое отчаяние, особенно помноженное на любовь, как показывает практика, самый

лучший скрепляющий материал. Пока восемьдесят изгнанников тоскуют по несуществующему, невозможному, как им кажется, дому, их дом будет цел.

– А почему они почти ничего не помнят? Им как-то стирают память? – спросила Алевтина.

– Нет, специально никто ничего не стирает, наша реальность все устраивает сама. Говорят, любая реальность по своей сути жадина, всегда рада присвоить зазевавшегося чужака. «Присвоить» – это значит не просто схватить и не отпускать, а еще и снабдить новой биографией, соответствующими убедительными воспоминаниями о себе и даже необходимыми доказательствами подлинности, вроде положенных документов, бывших соседей по дому, любительских фотографий, заметок на полях старых книг, институтских дипломов и унаследованных от родственников квартир. Если бы мы с вами вдруг забрели на Изнанку Вильнюса и смогли бы там задержаться, тоже небось в конце концов вспомнили бы, как мы там росли и ходили в школу. И никто бы нам слова поперек не сказал. Еще и копии наших аттестатов с тройками по черчению и физкультуре нашлись бы в архивах.

– Господи! – восхищенно выдохнула Алена. – С ума можно сойти!

– Можно, – тоном знатока подтвердила Люси. – Но лучше не надо. Все-таки не забывайте: я вам сейчас просто байки рассказываю. Ну или малоизвестные городские легенды о тайной Изнанке города Вильнюса, где, между прочим, существует целый свод правил техники безопасности для любителей путешествовать «на Другую Сторону», как они это называют. То есть сюда, к нам. И построен специальный маяк, свет которого, говорят, проникает в нашу реальность и то ли притягивает легкомысленных гуляк назад, то ли просто напоминает им о доме, чтобы особо не расслаблялись. И особый отдел тамошней Граничной полиции следит за неукоснительным соблюдением правил; впрочем, все это не то чтобы помогает. Люди любят нарушать правила, поэтому куча путешественников с Изнанки ежегодно влипает в серьезные неприятности, и далеко не всех удается найти и вернуть домой. Это, как я понимаю, считается у них самым большим несчастьем, какое только может случиться, но желающих путешествовать между мирами меньше от этого не становится. Мне рассказывали, что люди, рожденные на Изнанке нашей реальности, в среднем гораздо храбрее нас – просто в силу своей зыбкой природы. Чем плотнее материя, тем больше власти имеет над нею страх.

Люси умолкла, внезапно почувствовав себя очень уставшей. Так иногда случается даже с самыми неукротимыми болтунами – рассказываешь, формулируешь, стараешься излагать максимально понятно и вдруг прямо посреди фразы понимаешь, что все. Никаких сил больше нет, ни на что, даже обычную программу-минимум на автопилоте откатать без запинки. И это, конечно, совсем не дело. Потому что впереди еще почти два часа экскурсии... ой, нет, на самом деле гораздо больше. Пообещала же теткам, что перерывы будут не в счет.

Рывкнула на себя: «Соберись, тряпка», – и решительно достала из пачки еще одну сигарету. Должно помочь. Сказала:

– Сейчас еще раз покурю, и можно будет идти дальше, если ваши ноги не против.

– Да вроде не против, – неуверенно откликнулась Алена. И после долгой паузы добавила: – Слушайте, но это же, получается, совершенно ужасная жизнь. Без памяти о себе, зато полная отчаяния и тоски. Я не знаю, что может быть хуже.

– У кого ужасная жизнь? У людей-Мостов? – вяло переспросила Люси. – Да, им трудно приходится, тут не поспоришь. Но, согласно нашим городским легендам, Мостами становятся только добровольцы. А среди них проводят строжайший отбор, хуже, чем в космонавты. То есть, наоборот, лучше. Очень тщательно выбирают самых стойких и уравновешенных. Таких, кому все нипочем. И пожизненных контрактов ни с кем, конечно, не заключают, обычно лет на двадцать-тридцать, а потом возвращают домой. А вот тем, кто просто потерялся и так крепко здесь застрял, что даже на свет маяка выйти не может, потому что больше его не видит, гораздо хуже приходится. Настолько хуже, что самое время обрадоваться, вспомнив, что это просто малоизвестная городская легенда, а не горькая правда про настоящих живых людей.

Говорила все это и одновременно слышала себя откуда-то со стороны, как будто была еще одной экскурсанткой, старой подружкой Алены и Алевтины, приехала с ними из Москвы и теперь сидела в чужом, почти незнакомом городе, на площади Йоно Жемайчу, на ступеньках Министерства Обороны, в нескольких шагах от самой себя, курила, смотрела и думала: «Что-то эта девчонка совсем скисла; интересно, как она собирается дальше экскурсию проводить?» Так вошла в образ недовольной клиентки, что, когда из-за угла послышался звон трамвая, не увидела в этом ничего странного. Если очень долго сидеть на

трамвайной остановке, рано или поздно мимо тебя проплывет трамвай. Вернее, проедет. И остановится, с дружелюбным лязгом распахнув перед твоим носом дверь.

– Так в Вильнюсе все-таки есть трамваи! – обрадовалась Алевтина. – А в интернете написано, нет.

Люси открыла рот, чтобы ответить: «Правильно там написано, с двадцать шестого года прошлого века, когда выставили на продажу вагоны горемычной «пигутки»[7 - После Первой мировой войны в Вильнюсе была предпринята попытка восстановить конный трамвай, прекративший работу в 1916 году. Вильнюсский инженер Пигутковский оборудовал вагоны конки бензиновыми моторами. Новый трамвай по фамилии инженера окрестили «пигуткой». Регулярные рейсы «пигутки» с Кафедральной пл. до Пospешки начались 25 июля. Но «пигутка» ходила недолго: старые моторы постоянно ломались, вагоны загорались, а новые покупать никто не хотел. В 1926 г. городские власти приняли решение прекратить работу трамвая и разобрать линии, а вагоны продать жителям города, которые использовали их потом как склады или овины для скота и домашних птиц.], никаких трамваев в нашем городе нет», – но не успела не только ничего сказать, а даже обнаружить явное противоречие между своими невысказанными словами и звонким зеленым трамвайным боком, который – вот же он, здесь! – потому что Алена спросила: «А может быть, прокатимся пару остановок?» – и легко, без усилий поднялась с лавки, выкрашенной в ярко-оранжевый цвет.

– Конечно, поехали, – кивнула Люси, с облегчением ощущая, как к ней наконец-то возвращается бодрость тела, духа и, что особенно важно, языка. И уже после того, как за ними с веселым лязгом закрылась дверь, добавила: – Тем более, сегодня воскресенье. А по воскресеньям в наших трамваях для всех бесплатный проезд.

На этом месте она внутренне расхохоталась, спрашивая себя: «А был бы платный, мы бы никуда не поехали, так, что ли? Из экономии, да?» Но со стороны ее безмолвный саркастический хохот выглядел как самая обычная улыбка, может быть, чуть менее безмятежная, чем всегда.

Вот это номер, – думала Люси, пока трамвай отъезжал от площади Восьмидесяти Тоскующих Мостов в сторону улицы Лисьих Лап. – Вот это у нас экскурсия. Вот это сегодня у меня тетки. Крепко они влипли! Ай, ладно, едем и едем. Со мной они тут в безопасности. Так что почему бы и нет. В конце концов, зря я, что ли, единственный в нашем чертовом городе лицензированный экскурсовод по Этой Стороне.

Ну то есть как – лицензированный. Просто однажды, лет пять, кажется, назад к ней на экскурсию пришла славная смешная девчонка-студентка. Кто-то из приятелей эту экскурсию ей подарил; Люси, кстати, потом так и не вспомнила, кто именно, и расспросы не помогли.

Девчонка оказалась совершенно чудесная; у Люси тогда развязался язык, то есть не как обычно, а сверх ее – даже ее! – нормы. Сперва рассказала все истории дедушки Жюля, а потом и о некоторых своих приключениях, хотя о них с экскурсантами обычно помалкивает, все-таки перебор, но с этой девчонкой было так здорово, что Люси махнула рукой на сдержанность, а потом и на окончание оплаченного времени махнула все той же рукой, предложила: «У меня весь вечер свободен, так что, если хотите, идемте дальше гулять». И от Люсиного любимого мерцающего – то он есть, то на месте входа совершенно гладкая стена – бара на Бенедиктину они уехали на трамвае, чтобы продолжить веселье в «Совином сне» на Серебряной площади; Люси тогда совершенно не удивилась, наоборот, поняла, что весь день ожидала чего-то подобного, и, как выяснилось, не зря, а девчонка смеялась, жонглируя трамвайными жетонами, которые сами высыпались из ее рукава: «Так вот ты какая, внучка старого Жюля, и правда, в деда пошла!»

В финале их умеренно буйного, типично девичьего загула выяснилось, что новая подружка – не просто веселая гостья с Этой Стороны, а начальница тамошней Граничной полиции. Провожая Люси домой, попросила ее продолжать в том же духе. В смысле и дальше рассказывать экскурсантам всякие подозрительные легенды о тайной изнанке, сказала: «Нам это только на пользу, а тебе, похоже, все сходит с рук». И в гости, кого получится, разрешила приводить, с условием не оставлять в одиночестве, даже если сами будут умолять, обязательно отводить обратно, домой, а если кто-то сбежит, немедленно обращаться в полицию, но это как раз и так было понятно. Люси бы в голову не пришло бросить человека в незнакомой реальности, где вероятность благополучно дожить до завтрашнего утра, не растаяв бесследно за ночь, конечно же, существует, но, будем честны, далеко не для каждого чужака.

В общем, никаких официальных бумаг Люси, конечно, никто не выдавал, обошлось устным благословением, но с тех пор ей нравится думать, что лицензия на экскурсии по Этой Стороне у нее все-таки есть, выправлена по всей форме, с соответствующими печатями, просто хранится не у нее, а в сейфе какой-нибудь канцелярии, уполномоченной заниматься такими вопросами; бог знает, как на Этой Стороне все устроено, но если уж есть полиция, значит и разнообразные бюрократы тоже обязательно должны быть.

– Выйдем через две остановки, на площади Трех Ветров, – сказала Люси прилипшим к окнам Алене и Алевтине. – Там по выходным всегда отличная ярмарка, а сегодня как раз воскресенье. Нам крупно повезло.

Не совсем я

Стефан стоит на пороге и смотрит на меня так укоризненно, словно я скоропостижно скончался еще неделю назад, вероломно завещав свою сиротскую недвижимость городской Граничной полиции, и теперь ему предстоит самолично избавляться от старого хлама и делать здесь ремонт.

– Со мной все в порядке, даже ради разнообразия не напился, просто вставать сегодня совершенно бессмысленно, и вчера было бессмысленно, и позавчера. Только поэтому и лежу, а вовсе не по какой-то неизъяснимой зловещей причине, – скороговоркой рапортую я, пока Стефан не счел происходящее подпадающей под его юрисдикцию катастрофой и не кинулся меня спасать. В его исполнении это может оказаться воистину страшно, камня на камне от всего сущего не останется. Ему только волю дай.

Стефан – профессиональный спасатель. Спасибо, хоть не Спаситель. Собственно, профессиональный Спаситель это у нас как раз я – не всерьез, на полставки, даже скорее на четверть, но больше нам здесь и не надо. А сейчас у меня, мать его за ногу, в лучшем случае выходной. В худшем – продолжительный отпуск. Довольно херовый, будем честны. Но тут уж грех жаловаться, какой Спаситель, такой и у него и отпуск. Или, если я в рубашке родился, все-таки просто выходной. Хоть и третий подряд.

– Что все в порядке, это заметно, – наконец говорит Стефан. – Буквально сразу бросается в глаза.

На самом деле я так ему рад – самому факту, что Стефан все-таки есть, причем до такой степени есть, что я его вижу и слышу – хоть начинай рыдать. Я, кажется, уже практически начал, судя по тому, как помутнело в глазах. И вот это действительно катастрофа. Не люблю, когда меня видят в слабости, даже те, кто может помочь. Они, собственно, в первую очередь; остальные, будем честны, вообще не в счет.

– Не смотри на меня, – прошу. – У тебя, сам знаешь, тяжелый взгляд. Такой тяжелый, что, если увидишь покойника, он, чего доброго, еще раз помрет. А я сейчас и есть что-то вроде покойника. Не хочу навеки впечататься под твоим взглядом в этот неприятный момент и в себя самого – такого, каким ты меня сейчас видишь. Поэтому не смотри на меня, пожалуйста. Отвернись. Не запоминай.

– Не вижу никакой логики, – ухмыляется Стефан. – Взгляд у меня и правда вполне ничего. Но теперь прикинь, сколько раз я тебя видел в, скажем так, несколько менее расслабленном состоянии. До сих пор как вспомню, так вздрогну. Один короткий приятный эпизод тысячу моих инфарктов не перешибет.

И прямо как есть, не разуваясь, то есть с этой гадской ухмылкой, такой торжествующей, словно только что дал мне в лоб на глазах у всей средней группы детского сада, включая воспитательниц, нянечек и поварих, он бестактно вламывается в мой персональный ад, неумело замаскированный под жилое помещение. И усаживается на пол в изголовье продавленного дивана, на котором я зачем-то лежу вместо того, чтобы носиться по улицам, не касаясь земли, тасовать их, как карточную колоду, выворачивать наизнанку подворотни, открывать там проходы в такие удивительные места, куда не во всяком сне проберешься, щекотать храмовые колокола, чтобы звонили в неурочное время, стелиться туманом, открывать нараспашку все двери, встреченные на пути, строить воздушные замки, а ключи от них тут же рассовывать по карманам полуночных прохожих, пугать, удивлять, веселить, морочить и озадачивать, словом, заниматься своей повседневной, рутинной работой, а не валяться дома бесполезным унылым бревном.

– Ничего, – говорит Стефан таким специальным ободряющим тоном, который изобрели особо упертые оптимисты для превентивной защиты от чужого нытья. – Бывало гораздо хуже. По крайней мере, меня ты сейчас отлично видишь и слышишь. И, что характерно, даже узнаешь.

– Поди такое забудь, – огрызаюсь я, – и, помолчав, добавляю: – На этот раз я, похоже, вообще все помню. Ну или довольно большую часть; неважно, главное – помню. Но, честно говоря, не то чтобы этому рад. До сих пор всегда считал, что беспамятство – худшее из того, что со мной иногда случается, но знаешь, пожалуй, все-таки нет. Когда ничего не помнишь, не понимаешь, чего именно лишился. Смутно подозреваешь, что бывает как-то иначе, но совершенно не можешь это «иначе» вообразить, поэтому не чувствуешь себя настолько беспомощным дерьмом – просто не с чем сравнивать. А что тоскуешь неведомо о чем – ну так все люди об этом неведомо чем тоскуют. По крайней мере, те, кто в достаточной степени жив. Ладно, как есть, так и есть. Объективно, грех жаловаться: память – гораздо лучше, чем совсем ничего. Можно тебя не расспрашивать, не выяснять, кто я такой, о чем и о ком мне хочется плакать, что вообще, черт побери, происходит. И не хвататься за сердце, услышав ответ. И не щипать себя за разные интересные места в надежде проснуться. И так уже проснулся – дальше некуда. Весь, целиком теперь наяву, как последний дурак.

– Да ладно тебе. Почему сразу – «как дурак»? Быть наяву человеком вовсе не так глупо, как может показаться с отвычки. Трудный, но поучительный опыт. А в твоем случае еще и вполне неизбежный. И это, если забыл, я готов напомнить, твоя самая сильная сторона, – говорит Стефан и кладет мне на плечо руку, тяжелую и горячую. Я ее очень явственно ощущаю, и это на самом деле отличная новость. Мог бы – обрадовался бы. Но похоже, вот прямо сейчас я совершенно не умею радоваться. Просто не знаю, с чего начинать.

– Ну вот, – удовлетворенно заключает он, – говорю же, все не так плохо, как кажется. Ты не только видишь меня и слышишь, а даже прикосновение чувствуешь, хотя с точки зрения нормального человека, таких, как я, вообще не бывает. По-моему, вполне можно жить.

– Да можно, конечно. Я и живу, сам видишь. Даже пульс какой-то вроде бы есть. Понятия не имею, на кой черт он нужен, но вроде считается, что из всех признаков жизни пульс – самый главный. Значит, я достаточно убедительно жив, ни один медик не придерется. Хотя лучше бы ты меня сейчас пристрелил. Например, из табельного оружия. С учетом того, какое у тебя, по идее, должно

быть табельное оружие, могло бы получиться красиво. Как минимум очень смешно.

Я сейчас не шучу, но кривляюсь, как будто шучу, а Стефан делает вид, что верит; впрочем, возможно, действительно верит, он – простая душа, когда ему это выгодно. И ухмыляется, страшно довольный:

– Давно руки чешутся, не искушай. Лучше вставай и свари нам кофе – если уж вдруг у тебя вдруг в кои-то веки отыскался пульс.

«Вставай и свари» – это очень жестоко. Говорю же, когда Стефан берется спасти, это воистину страшно. Но ладно, как может, так и спасает. Кто я такой, чтобы его критиковать.

– Когда все настолько хреново, не стоит подолгу валяться без дела, а то совсем тоска загрызет, – сочувственно говорит Стефан. – И совершенно напрасно ты сейчас пытаешься изобразить великомученика, смиренно скармливающего себя дракону. Во-первых, не твое ампула, хоть ты тресни; от такого сомнительного обеда любой дракон убежит с воплями: «Помогите, я на диете!» А во-вторых, никаких особых надругательств над твоим телом я пока что не совершил. По крайней мере, не принес тебе в подарок растоптанные кроссовки и не погнал на пробежку, оцени.

– Ну это как раз понятно. Рано или поздно я оклемаюсь, а тебе со мной еще в одном городе жить, – угрожающе щурюсь я, с удивлением отмечая, как у меня поднимается настроение. Видимо, от осознания, что избежал самой страшной беды.

Встаю по частям – сперва спускаю с дивана на пол правую ногу и какое-то время придирчиво ощупываю босой пяткой пол: достаточно ли он твердый и прочный, чтобы выдержать грузное, плотное человеческое тело, от которого я, будем честны, отвык. Но пол молодец, по крайней мере, наощупь вполне внушает доверие. За правой ногой следует левая, и вот я уже не лежу, а сижу. Немыслимый прогресс, примерно как рыбе выйти из воды на сушу во имя торжества эволюции; отныне имя мне – Ихтиостегида[8 - Род вымерших челюстноротых, первое промежуточное звено между рыбами и амфибиями.]. Или что-то вроде того.

– Только учти, – говорю я Стефану, – ничего выдающегося тебе сегодня не светит. Когда я настолько человек, кофе у меня получается так себе, средненький. Совершенно точно не лучший на берегах обеих рек.

– Переживу, – отмахивается он. – Хуже, чем в привокзальном автомате все равно не будет. Этого достаточно, я – великий аскет.

И сияет такой победительной улыбкой, словно не меня с дивана поднял, а луну согнал с небосвода. Впрочем, он прав: еще неизвестно, что на самом деле трудней.

Когда внезапно утрачиваешь божественный дар вдохновенно властвовать над материей, присущий всем хорошим поварам и примазавшимся к ним условно демоническим сущностям, обычно выручает качество исходного сырья и элементарное знание технологии. Вот и сейчас я наливаю в джезву холодную воду, специальной ложкой отмеряю кофе поочередно из двух пакетов, поскольку помню, что из смеси разных сортов результат всегда получается лучше. Эфиопского кофе нужно класть примерно три ложки, последнюю – с горкой, колумбийского – две с половиной; ладно, не буду жадничать, три. Добавляю четыре зеленых зерна кардамона, предварительно их разломив, буквально пару крупниц черного перца, спрашиваю: «Сахар как всегда?» – Стефан молча кивает, и я отмеряю две полные ложки мокрого черного тростникового сахара, на большую джезву – в самый раз. Сахар лучше класть в кофе заранее, чем потом добавлять в чашку. Так гораздо вкусней. Некоторые любители вообще кладут сахар в самом начале, в пустую джезву и какое-то время подогревают ее на огне, чтобы получить специфический карамельный привкус, многим он нравится, но мне – не особо. Поэтому делаю, как привык.

В приготовлении кофе есть одна гадская закономерность: чем дольше он варится, тем лучше результат. Лично я ненавижу подолгу возиться с чем бы то ни было, поэтому обычно, утратив счастливую способность нарушать законы физики, варю кофе кое-как, без особых церемоний, на максимальном огне, лишь бы побыстрее. Но сегодня вполне можно потерпеть – просто ради красоты жеста. Пообещать, что ничего выдающегося не получится, и приготовить лучший кофе за всю историю своего бурного романа с этим напитком – шикарный ход. Ну и мелкая победа над собственной немощью, да еще при таком свидетеле мне сейчас точно не повредит.

– Симулянт, – говорит Стефан, сделав первый глоток. – Теперь-то ясно, что ты просто решил потрепать мне нервы. Но выдал себя.

Невольно расплываюсь в улыбке: люблю, когда меня хвалят. Особенно, если за кофе. И ничего с этим поделать не могу.

– Спасибо за комплимент. Но, к сожалению, я пока не настолько симулянт, как нам обоим хотелось бы. Просто опыт есть опыт; уверен, если мне отрубить голову, способность варить лучший в городе кофе сохранится еще примерно на четверть часа. И исчезнет только когда я пойму, что лично мне пить его больше нечем. Я не настолько альтруист.

Беру свою чашку и наконец говорю то, о чем гораздо проще молчать, но сейчас все-таки стоит проболтаться, потому что Стефан есть Стефан, он может... ладно, положим, помочь – это все-таки вряд ли. Но хотя бы привет передать.

– Я до такой степени не симулянт, что Нёхиси уже почти три дня не видел. Даже голос не слышал, а ведь обычно хоть что-то да слышу, в самом худшем случае, смех, как звон в ушах. А тут – полная тишина. При этом уверен, он околачивается где-то поблизости и чувствует себя по-дурацки. И наверняка очень зол. Я бы точно на стены кидался, если бы меня вот так в упор не видели и не слышали – а ведь я не всемогущий. В смысле мне, по идее, к неудачам не привыкать, поэтому должно быть не так обидно. Но по-настоящему плохо даже не это. А то, что, когда я его так долго не вижу, я в него не очень-то верю. Начинает казаться, что я его просто выдумал. И вместе с ним вообще все.

– Да ладно тебе, – ухмыляется Стефан. – Выдумал, скажешь тоже. Не зазнавайся. При всем уважении к твоему буйному воображению, выдумать Нёхиси ты бы не смог. Его вообще никому не под силу выдумать, включая старейших преподавателей философского факультета, окончательно сбрендивших от многолетнего пьянства в библиотечных архивах, хотя, на первый взгляд, задача словно бы специально для них. Однако Нёхиси настолько не вписывается ни в текущую культурную парадигму, ни в другие, хотя бы условно известные современным гуманитарным наукам, что сочинить его решительно невозможно. Неоткуда человеческому воображению такое взять. И самого себя ты, между прочим, тоже не смог бы выдумать, примерно по тем же причинам. А вот меня, кстати, – вообще не вопрос. Просто человек, который слишком долго был

шаманом и со временем понахватался привычек своих, скажем так, клиентов. Говорят, старые опытные психиатры все сами немножко с приветом, но это им не мешает, наоборот, помогает в работе. В общем, я самый скучный у нас.

– Да уж, рядом с тобой от скуки свихнуться можно, – с видом знатока подтверждаю я.

– То-то у меня все сотрудники в последнее время такие... эмоционально неуравновешенные, – подхватывает Стефан. – Я думал, от постоянного стресса, неизбежно сопровождающего слишком быстрые перемещения между разными уровнями сновидений, а это они просто рядом со мной от скуки свихнулись. Ну тогда ладно, ничего не поделаешь, пусть.

– И в чем выражается их эмоциональная неуравновешенность? – удивляюсь я, потому что, на мой взгляд, все ребята из Граничной полиции – исключительные зануды, в смысле отлично держатся, невзирая на нечеловеческие условия работы, всем пример. – Я что-то пропустил?

– Покупку самоката ты пропустил, – вздыхает Стефан. И после драматической паузы добавляет: – Красного. Пока одного на всех, но лиха беда начало. Теперь они по очереди катаются, причем не только по улицам, но и по коридорам всех этажей Второго Комиссариата, попутно отводя глаза случайным свидетелям. То есть, получается, вообще всем – если работаешь в комиссариате на Альгирдо или просто зашел туда по делам, встреча с красным самокатом практически неизбежна, как и сопутствующий ей небольшой технический перерыв на забвение. Поэтому теперь наши ни в чем не повинные коллеги с нижних этажей большую часть времени пребывают, я бы сказал, в мечтательном настроении. Называя вещи своими именами, грезят наяву. Не знаю, как это безобразие сказывается на статистике раскрытия преступлений – я имею в виду, нормальных человеческих преступлений, которыми они занимаются. В общем, даже не удивлюсь, если хорошо сказывается, вдохновенная рассеянность освобождает ум. Но на обычное поведение нормальных уравновешенных людей эта эпопея с красным самокатом явно не тянет, согласись.

– Да ладно тебе придирааться, – говорю я. – Тоже мне, великая анархическая революция – какой-то несчастный самокат. Ваша Галя дюже балована, вот как это называется. Просто я к тебе на работу давно повидаться не заходил. Исключительно по причине врожденной деликатности, чтобы не создавать лишних проблем. Наверное, зря.

Стефан укоризненно качает головой и ставит на стол пустую чашку. И сам встает. Все с ним ясно: решил, будто я уже в полном порядке, и намылился уходить. Небось его очередь кататься на красном самокате вот-вот подойдет. Ну или просто какой-нибудь обнаглевший Голодный Мрак в городе объявился – тоже ничего себе развлечение, по себе знаю, пару раз ребята меня с собой брали его ловить, вернее, сидеть в кустах, изображая восхищенную аудиторию, способную по достоинству оценить красоту каждого жеста, любому большому мастеру такая порой нужна.

В общем, у Стефана всегда куча дел, одно другого прельстительней. Совсем свиньей надо быть, чтобы останавливать человека, устремившегося к личному счастью, в чем бы оно ни заключалось.

Но жизнь полна сюрпризов: внезапно выясняется, что я и есть именно такая свинья. По крайней мере, вместо того, чтобы вежливо пожелать гостю хорошего продолжения дня, я говорю:

– Ты бы все-таки убил меня, а? Я точно знаю, ты можешь так аккуратно убить мои человеческие остатки, что настоящий я и бровью не поведу, даже замечу не сразу, если не скажешь. Тебе нетрудно... – ладно, прости, догадываюсь, что на самом деле как раз очень трудно, но все равно же по силам – а мне такое облегчение участи. Можно больше не становиться слабым, тупым и беспомощным, слепым, глухим и беспамятным – вообще никогда. Было бы очень круто. Ну что ты так смотришь? А то не знаешь, как это беспомощное человеческое тело меня достало. Сил моих уже нет. Оно, между прочим, едва выдерживает всего остального меня, чем дальше, тем ему труднее справляться, как бы самовольно не окочурилось от такого невыносимого счастья, оставив с носом всех нас. Неаккуратно получится.

Стефан смотрит на меня так неласково, словно готов выполнить просьбу вот прямо сейчас, не откладывая. Причем это будет вовсе не настолько легко и приятно, как в моих сокровенных мечтах.

– Я тебе окочуруюсь, – наконец говорит он. – Хренасе вообще заявление. Вот только попробуй. Ты меня знаешь. Поймаю, за ухо назад приведу, воскрешу и отлуплю по дурной башке колотушкой до достижения полного дзена, чтобы неповадно было.

Так непривычно видеть по-настоящему сердитого Стефана, что я отворачиваюсь к окну.

– Ну извини. Я, если что, не дразнился. Не проверял, сумею ли тебя разозлить.

– Знаю, что не дразнился, – вздыхает Стефан и снова садится на стул. – Потому и сержусь. Зря, конечно, сержусь. Ясно, что тебе очень трудно. На самом деле даже вообразить не могу, насколько, поэтому представляю самое наихудшее, а потом умножаю на двадцать пять. Возможно, я ошибаюсь, и умножать надо на двести девяносто четыре? Или даже на тысячу – например.

– Не жадничай, умножай сразу на бесконечность. А потом подели на ноль. В результате получишь более-менее объективную картину. Надеюсь, содрогнешься. И, может быть, все-таки согласишься меня убить.

– Не соглашусь, – твердо говорит Стефан. – Ни при каких обстоятельствах. Потому что, будешь смеяться, некого убивать. Ну или некого оставлять в живых – смотря как поставить вопрос. Ты весь, целиком, человек, от макушки до пяток. И весь, целиком, чистый потусторонний дух. Невозможно отделить одно от другого, так уж ты интересно устроен. Отчасти по моей милости, извини.

– По твоей милости?!

Это, получается, еще непонятно, кто кого сейчас будет убивать.

– Говорю же, только отчасти. Когда я заключал контракт с твоим приятелем, подсказал ему верное средство от опостылевшего одиночества, более-менее неизбежного для всемогущих существ: найти подходящего человека, достаточно крепкого, веселого и отчаявшегося, чтобы выдержал уготованную прекрасную участь, и как следует околдовать; заодно излишки всемогущества найдется куда пристроить, чтобы не разнести здесь все на куски одним случайным чихом. Ну и получилось, что получилось. Честно говоря, даже лучше, чем я себе представлял. И теперь не откажусь от этого приобретения ни за какие коврижки. Ты мне здесь очень нужен – таким. Ты и есть та самая точка, в которой человеческая реальность соединяется с миром духов, самим фактом своего существования делаешь нас возможными друг для друга. Ты – прецедент и пример; можно сказать, своего рода мост между разными сторонами

реальности, примерно как люди-Мосты Этой Стороны, живущие среди нас без памяти и надежды ради утверждения своей зыбкой родины неутолимой тоской. Только жизнь у тебя все-таки повеселей, чем у них, согласишься. Зато и масштабы другие. И ответственность, если на то пошло. Без тебя здесь сразу станет по-старому, как в те скучные времена, когда на границе между всеми пересекающимися в этом городе реальностями стояла глухая, почти неодолимая стена, об которую я сам столько лбов, своих и чужих когда-то расшиб – ты не поверишь. Нет уж, хватит с меня.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Перевод: Святой Юрий, у тебя есть ключ. Отвори нам небесный свет! (словенский). Эту песню пели в деревнях словенской Нижней Штирии в честь Весеннего Юрьева дня.

2

Действительно, окраина Восточного Берлина, район Карлсхорст.

3

Сувалки – город в Польше, вблизи от польско-литовской границы.

4

Ром агриколь (agricole, т. е. «сельскохозяйственный») отличается от обычного рома способом производства, делается из свежесжатого сока сахарного тростника, производится обычно небольшими партиями, поэтому встречается реже и стоит дороже.

5

Копирайт на этот слоган принадлежит Корпорации «Необитаемое Время».

6

Немецкое издательство, одно из крупнейших в Европе специализирующихся на издании художественных альбомов и книг по истории искусства, живописи, архитектуры, дизайна и моды.

7

После Первой мировой войны в Вильнюсе была предпринята попытка восстановить конный трамвай, прекративший работу в 1916 году. Вильнюсский инженер Пигутковский оборудовал вагоны конки бензиновыми моторами. Новый трамвай по фамилии инженера окрестили «пигуткой». Регулярные рейсы «пигутки» с Кафедральной пл. до Поспешки начались 25 июля. Но «пигутка»

ходила недолго: старые моторы постоянно ломались, вагоны загорались, а новые покупать никто не хотел. В 1926 г. городские власти приняли решение прекратить работу трамвая и разобрать линии, а вагоны продать жителям города, которые использовали их потом как склады или овины для скота и домашних птиц.

8

Род вымерших челюстноротых, первое промежуточное звено между рыбами и амфибиями.

Купить: <https://telnovel.me/ru/maks-fray/tyazhelyy-svet-kurteyna-siniy>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)